

МАРИНА АХМЕДОВА

УРОКИ УКРАИНСКОГО

от Майдана до Востока

ВОЙНА И МЫ...
САМЫЕ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ
РЕПОРТАЖИ
И САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦКОРА «РУССКОГО
РЕПОРТЕРА»



18+

Марина Ахмедова

**Уроки украинского. От
Майдана до Востока**

«АСТ»

2015

Ахмедова М. М.

Уроки украинского. От Майдана до Востока / М. М. Ахмедова — «АСТ», 2015

«Первый репортаж с главной площади Украины – майдана Незалежности – я написала в начале года. Тогда я еще и предположить не могла, что на юго-востоке начнется война и я буду совершать регулярные поездки в обстреливаемый Донецк, знакомиться с людьми, выслушивать и записывать десятки историй о великом героизме и великом предательстве. И что в конце концов я буду держать в руках книгу, в текстах которой некоторые люди еще живы, а в реальности – уже мертвы. Убиты. А для тех, кто всего этого не слышал и не видел, пусть этот сборник станет документальным и материальным свидетельством того, что все это происходит здесь и сейчас. И все это, к сожалению, – наша реальность». Марина Ахмедова

© Ахмедова М. М., 2015

© АСТ, 2015

Содержание

От автора	6
Майдан умеет ждать	8
Я – сотник	14
Три Богдана	22
Западнее Львова	30
Трезубцы небесной тысячи	38
На смерть генерала Кульчицкого	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Марина Ахмедова

Уроки украинского: от Майдана до Востока

Natalia Aksenova: Марина Ахмедова – единственный репортажник, пишущий об Украине так, как завещано это делать уважающему себя профессиональному репортажнику: так, что читатель не понимает, где «свои», а где «чужие». Так, что читатель начинает сомневаться, что есть «правые» и «неправые». Так, что читатель вместе с автором начинает чувствовать и ощущать персонажей репортажа не Героями и Врагами, а героями одной нашей общей грустной истории.

Елена Черных: Ахмедова – единственный журналист, который не забывает, что главное в этой (и любой другой) войне – это люди. Те люди, которые стреляют, те, которые бегут, погибают, любят, боятся, хоронят детей, надевают бронежилеты, гладят собак. В ее репортажах люди живые. Все. И неважно, по какую сторону баррикад они это делают. Ее люди – настоящие.

Slava Lagutkin: Все эти тексты ровно и одинаково пронизывает нелюбимая, внимательная и почти бесстрастная любовь, не ищущая корыстно шкурного своего, но честно изгоняющая липкий страх, проходя как свет во тьме сквозь боль, зло и смерть...

Anton Zhebrauskas: Обычно мы оцениваем журналистов как «своих» или «чужих». Я не знаю, куда отнести Марину Ахмедову. Она «другая».

Елена Семененко: Не вспомню названия репортажа, но одна деталь в нем меня просто поразила – в больнице клятва Гиппократы выполнялась одинаково при спасении всех раненых. Но бойцу с «той стороны» медсестрички наотрез отказались мыть ноги, потому что он «топтал» ими их родную землю. Когда автор находит столь выразительные детали, проникаешься доверием к его словам, суждениям.

Владимир Петровский: Репортажи Марины Ахмедовой – живые! Не только слышишь, но и видишь ее героев, невольно становишься не просто свидетелем, а как бы участником описываемых событий. Ничего лишнего, все четко, лаконично, все работает на цель. Замечательный подбор очень выразительных деталей, которые придают картине убедительное правдоподобие. Деталь ведь нельзя выдумать. В каждом ее предложении чувствуется ответственность, серьезность и яркий талант.

Дмитрий Никитинский: Люди рассказывают Ахмедовой такое, чего не говорят больше никому и никогда. Видимо, она ведьма.

От автора

Первый репортаж из этого сборника я написала в начале года – с главной площади Украины – Майдана независимости. В первую поездку я провела там несколько недель. Жила в гостинице «Украина», которая стоит практически на Майдане, а окна моего номера выходили прямо на его сцену. Майдан никогда не спал – даже ночью. Днем со сцены звучали речи политиков, общественных деятелей, простых граждан, пожелавших взять слово. А ночью оттуда доносилось пение греко-католических священников. Я уехала во Львовскую область. Встречалась с людьми в деревнях там. Писала новые репортажи. Вернулась на Майдан и осталась там примерно еще на месяц.

Заговорили о референдуме в Крыму. Весть об этом меня застала в палатке афганцев – ветеранов войны в Афганистане. Тогда советские офицеры, они сражались бок о бок с русскими. Тогда у русских и украинцев была одна родина. Но сейчас, и в тот день это хорошо чувствовалось, ненависть готова была пролиться. Там, в палатке, мне говорили, что я – представитель вражеского государства-оккупанта и что, пока они сидят и мирно беседуют со мной, наши российские танки давят их землю. Все эти разговоры казались мне несерьезными – я видела перед собой людей, говорящих со мной по-русски и ничем не отличимых от русских ветеранов. В серьезность происходящего я не верила даже тогда, когда, выйдя из той палатки, попала в серый день, близившийся уже к вечеру. В воздухе стояла морось, и, наверное, если бы кто-то смотрел на Майдан в тот момент сверху, он бы увидел только серый туман, из которого вырисовывается сцена, деревянная елка, завешанная постерами, колонна со статуей, держащей золотую ветвь, палатки и костры, горящие и ночью, и днем. Над Майданом стояла тревожная тишина. Сотни людей скопились у сцены. И, наконец, серую тишину прорвал голос какого-то политика, который со сцены призывал к мобилизации, сообщая, что враг уже зашел на их территорию. Но и тогда, по-моему, мало кто верил в войну. Казалось, что в наше время это невозможно. А сейчас, когда я думаю о времени, проведенном мной на Майдане, и о том, как быстро запылал юго-восток, меня по-прежнему не оставляет ощущение нереальности. Отчетливо оно нахлынуло на меня в одну из ночей, когда я расшифровывала записи с диктофона в «Кофе-Хаусе» – единственном круглосуточно работающем кафе на территории Майдана. Когда я вышла оттуда, стояла глубокая ночь. Священник тихо пел со сцены. Костры дымились. В палатках спали люди, а некоторые грелись у костров и тихо переговаривались между собой. Вся территория Майдана была укрыта срезанными цветами, сквозь стебли которых виднелись лица с фотографий «Небесной сотни» – тех, кто погиб две недели назад от пуль снайперов. Цветы быстро замерзали на морозе, и их укрывали слоем свежих. И так – каждый день. Ворохи их росли. Лежали они так плотно, что между ними оставались лишь узкие дорожки для пешеходов. Я бежала из кафе в гостиницу. Мне нужно было перебежать дорогу, уставленную покрывками, дальше двигаться по узкому проходу между палатками, оттуда вверх – до гостиницы. Возле палаток я остановилась и обернулась на сцену. Сверху сгустился уже туман, внизу – горели свечи. И я спросила себя – что я тут делаю, и не сошла ли я с ума, находясь тут. Мне казалось, что я выпала из своей реальности и теперь нахожусь в реальности чужой, в том месте, которого не должно быть. Это чувство быстро оставило меня, и я побежала дальше. Но теперь я часто вспоминаю тот момент той ночью, когда я застыла на Майдане, не понимая – где я. Когда я еще и предположить не могла, что на юго-востоке начнется война, и я буду совершать регулярные поездки в обстреливаемый Донецк, напишу такое количество репортажей, что их можно будет собрать в целую книгу. Что я буду приезжать, знакомиться с людьми, писать о них, а, возвращаясь, не застаю их в живых. И что, в конце концов, я буду держать в руках сборник, в текстах которого некоторые люди еще живы, а в реальности – уже мертвы. Убиты. И мне кажется, что это место и тот миг, в котором я застыла

однажды ночью на Майдане, существует и сейчас – в какой-то другой реальности. Но где-то рядом. И если найти туда ход, вернуться туда и сделать что-нибудь, то что-то в пространстве переключится, и все пойдет по-другому. Не будет ненужной войны на юго-востоке. Не будет тысячи смертей. Я никогда не увижу оторванных конечностей. Не увижу тела погибших с той и с этой стороны. Не узнаю, что когда снаряд выпущен далеко, то до тебя доносится глухой звук, а когда близко – снаряд свистит. Что гражданских (а слово это чаще всего расшифровывается так – женщины, старики, дети) «срезает» потому, что их никто не учил падать в землю. И они стоят, задрав голову на свист, не шевелясь от страха... Я не увижу разбитый Луганск. Мне не придется выслушать и записать десятки историй о великом геройстве и великом предательстве.

А для тех, кто всего этого не слышал и не видел, пусть этот сборник станет документальным и материальным свидетельством того, что все это происходит здесь и сейчас. И все это, к сожалению, – наша реальность.

Майдан умеет ждать

Что сказали корреспонденту «РР» активисты протеста, когда услышали новости из Крыма

Под Львовскими вратами горит бочка. Огонь выглядывает из дырок на ее боках, поднимается из жерла, освещая арматуру моста и большой желтый циферблат, украшающий земляную насыпь. Его стрелка остановилась на половине первого. Под мостом вокруг бочки рядами сложены закопченные мешки. Мужчины в военизированной одежде курят, сидя на бревнах.

– У нас работы нет, – говорит один из них, человек лет пятидесяти по имени Богдан. – Люди в основном уехали за границу, там пытаются заработать. А если на родном месте все же найдешь работу, то зарплата копеечная. Семью свою ты прокормить не можешь. Вы понимаете вообще, что такое усталость от труда?

К бочке подходит темная фигура. Подливает в огонь из бутылки коктейль Молотова. Огонь вспыхивает и поднимается.

– Вы стояли именно за тех, кто сейчас пришел к власти? – спрашиваю я их.

– Нет, мы не за них стояли, – отвечает Богдан. – Мы стояли за то, чтоб работала система ответственности и наказания. Украл? Сиди. Чтоб сидели и тупо считали: это туда потратили, это сюда, а это – это куда? А ну-ка, отчитайся! – манит он черным от копоти пальцем воображаемого коррупционера из темноты. – Когда уже законодательство будет нормальное, мы разойдемся. Вы думаете, мы разойтись не хотим? Тяжело тут морально. Вот прям на вашем месте, где вы сидите, позавчера мертвый лежал. На этом месте еще есть коридор, по которому смерть за ним пришла. Коридор еще не закрыт – знайте, где вы сидите.

Богдан горбит спину. Он невысокий и коренастый, с затаенной обидой в голубых глазах. В спину ему смотрит сгоревший Дом профсоюзов. Из труб многочисленных палаток поднимается дым, и кажется, что почерневший остов дома по-прежнему горит. На дорожках со снятой брусчаткой, на пригорках и бордюрах шеренги цветов. Мигают огни поминальных свечей.

– А зачем вы теперь Крым и Харьков против нас настроили? – поморгав на огонь, спрашивает меня тот, кто лил в бочку коктейль. – Рассказали у себя в России, что мы тут бандюки, террористы, бандеровцы. Кстати, вы нас не боитесь? Вы же сейчас у львовских бандеровцев в самом логове, можно сказать, сидите.

Все снова умолкают и смотрят на огонь. Со сцены, над которой горит зеленый глаз прожектора, шарящий по всему Майдану, слышны призывы: «Путина геть!», «России позор!».

– Россия перша нас не любит, – говорит один из мужчин.

– Ужасно обидно все это слышать, – отзывается я.

– А нам не обидно? – заводятся они. – А что, неправда? А я три роци в Москве робил прекрасно! И ничего! А теперь шо? Война!

– Давайте так, – произносит Богдан. – Мне, например, тоже обидно, когда мне говорят, что я русских не люблю. – Он затаптывает ногой окурок. – Это все ложь. Русские наши самые близкие братья. Чего я русского буду не любить, когда я сам такой же? Просто мы хотим получать нормальные деньги за свой труд. Мы не хотим в Европу, мы хотим, чтобы здесь было как в Европе.

Богдан поднимает плечи, в его глазах отражается огонь. Через час этот львовский наряд сменит другой, выпавшийся, Богдан уснет в палатке, но огонь из его глаз не уйдет, явится ему во сне.

– Рано или поздно Майдан закончится, – говорю я. – Вы вернетесь домой. Попытайтесь найти работу и не сможете. Вам снова будет не на что кормить свою семью.

– Да, я вернусь домой, и у меня снова не будет работы, – отвечает Богдан. – Я снова пойду на огород копать грядки, сажать картошку. Но! Они больше никогда так не смогут! Потому что будут знать: чуть что, вылетят к чертовой матери!

* * *

В Украинском доме импровизированный буфет. За стойкой бесплатно выдают чай с сахаром, кофе, ломтики батона с маслом, вареньем или медом. Люди берут пластиковые стаканчики и бутерброды, едят стоя или рассаживаются за круглые столы.

– Я занимаюсь популяризацией здорового питания, – говорит Павел. – У нас много фальсифицированных продуктов продается в магазинах. У меня был свой цех небольшой по сыру, его накрыли и, соответственно, закрыли. Сейчас я продвигаю на киевском рынке масло, сыр сулугуни и сгущенку из Винницы.

– А сгущенка – это тоже здоровое питание?

– Если сделана по правилам: молоко, сахар, лактоза, – со знанием дела отвечает он.

За этими разговорами о масле и сгущенке мы выходим из дома и встречаем колонну, которая тянется до Институтской. Над ней реют украинские флаги.

– Небесной сотне! – доносится мужской выкрик.

– Слава! Слава! Слава! – хором отзываются голова и середина колонны.

Несколько секунд в свете фонарей она движется к Майдану молча. Бока ее прикрывают люди в камуфляже. Время от времени они оборачивают в мою сторону лица в масках. Слышно, как ветер полощет в воздухе флаги. Колонна вздрагивает выкриками: «Украина понад усе!», «Смерть ворогам!», «Смерть ворогам!»

Посреди Майдана стоит огромный металлический каркас, который должен был стать новогодней елкой. Сейчас он украшен флагами Украины и Евросоюза и постерами, на которых изредка мелькает лицо Путина. Мимо елки ведут человека в расстегнутой куртке. Его руки замотаны скотчем за спиной. Конвоиры – люди в камуфляже и масках. Один из них, с бородой, по которой проходят две седые полоски, несильно толкает связанного в спину. Тот спотыкается. У него остекленевшие глаза навывкате. И хотя они выкатились из орбит только чуть больше положенного, человек, кажется, ничего перед собой не видит. Ноги его дрожат и заплетаются, словно кости в них размякли и перестали держать.

– Куда вы его ведете? – прикосновением руки останавливаю я одного из конвоиров.

– Это титуха. – Он произносит это слово так, словно, услышав его, я должна безразлично отступить подальше. – Мы его поймали.

– Какая разница кто? Я хочу ему помочь. Я могу ему помочь?

– Нет конечно.

– Вы будете его бить?

– Нет конечно. Просто сейчас проведем по Майдану.

– Это показательное, – говорит взрослый конвоир с бородой. – Чтобы все его лицо видели. Так мы поступаем и с ворами, и с провокаторами.

– Это не показательное, это средневековое, – говорю я, пока связанный стоит ко мне спиной и мелко трясет головой. Все это время я держу конвоира за рукав.

– А когда «Беркут» впятером одного? – спрашивает он.

– Но если «Беркут» так плох, зачем брать пример с худшего? – успеваю спросить я, прежде чем он уходит.

В просторной палатке стоит пряный запах. В чаны сыпаются мелко нарезанные лимоны, имбирь, сахар-песок. Над чаем колдует лысый человек, как две капли воды похожий на Розенбаума.

– Приехал сюда, когда наших детей избили. У меня двое детей, я не могу позволить, чтобы их били только за то, что они тут сидят и на гитаре играют.

– В тот день, когда снайпер расстреливал людей, вы были на Майдане?

– Да, – он перестает улыбаться. – В тот день тут был ужас. Я никогда не мог подумать, что буду воевать в своей стране. Мы ведь мирные люди. Семеро моих друзей. – Он замолкает, смотрит на меня глазами Розенбаума, из них выкатываются две слезы. Он отбегает в угол палатки, отворачивается и стоит там, среди чанов. В противоположном углу на полке стоит икона бога-отца в треугольном нимбе, как в наполеоновской треуголке.

– Простите, – возвращается из угла успокоившийся двойник Розенбаума. – Когда отец умер, и то слезы не шли, а сейчас плачу.

– У вас на кольце выгравирована птица. Это беркут? – показываю я на его печатку.

– Нет, это чайка, символ свободы. Я надел его, когда из шахты вышел. Там я думал только о том, чтобы обеспечить семью. Шахта – штука опасная. После десяти лет работы человек начинает думать, что он уже все знает, и попадает в травму. Но меня бог миловал. – Теперь он дарит взгляд богу-отцу, по строгому лику которого не понять: это была шутка, когда он создал двух таких похожих людей – этого шахтера и Розенбаума? И над кем он пошутил больше: над шахтером, подарив ему лицо известного певца, но при этом на двадцать два года упрятав под землю, или над певцом, которого недавно ведущие российские СМИ обвинили в том, что он собственноручно угощал майдановцев борщом?

* * *

За сценой импровизированный шлагбаум, за ним палатки защитного цвета.

– Я к афганцам, – говорю я, и охранник пропускает меня за ограждение.

У палатки, над входом в которую висит серое полотно «Українська Спілка Ветеранів Афганістану», стоит крупный мужчина в черном берете.

– Документы! – останавливает меня он и докладывает, заглядывая в палатку, отодвинув тяжелый полог: – Русская пресса!

– Стойте здесь, ждите! – Это уже ко мне.

Пока я жду, из палатки выходят немолодые люди в камуфляже и среднего возраста мужчины в деловой одежде. Один из них в афганской шапке, похожей на гриб.

– Русская пресса, ты же не хочешь, чтобы тебе голову проломили? – обращается ко мне один из них. – Носи вот это, чтобы тебя никто не тронул. – Он берется за петличку моего пальто и просовывает в нее ленту цвета украинского флага. – Не снимай, – говорит он, завязывая ленту тугим узлом.

– А еще лучше, когда к вам подойдут, скажите сразу: «Слава Украине!», – советует человек в берете.

– Простите, я ее сниму, – под взглядами собравшихся у палатки я отвязываю ленту и возвращаю ее афганцу.

– Какие же вы в России зомбированные! – в сердцах сплевывает он.

– Мне не противно носить символ Украины, но я не хотела бы, во-первых, делать это против своей воли, а во-вторых, я не считаю правильным носить его из страха.

– Смотри. – Афганец в берете подносит к моему лицу руку. На среднем пальце татуировка.

– Свастика, – произношу я.

– Мы ваш Кремль за пять минут возьмем, – говорит он и отворачивается.

Теперь рядом со мной у палатки появляется молодой мужчина в бронежилете. Его руки покрыты черной грязью.

– Где вы испачкались? – спрашиваю я его.

– Я ж водила «Урала»! Тильки что проехал на нем по всему Киеву. У нас же автопарк афганский. Все машины на ходу!

– Сюда попала пуля и сюда, – я дотрагиваюсь до дырок на его бронежилете. – Так?

– Так то двенадцатый калибр. – Он вытирает тыльной стороной ладони нос, искривленный в переносице. У него оттопыренные уши и испачканное мазутом детское лицо. Зовут Андреем. – Я боком стоял, тут рикошетом пошло. А сзади граната рванула. – Он поворачивается спиной и показывает еще одну дырку. – Ты спросишь, зачем мы там были? А зачем мои и твои деды в сорок пятом шли на Берлин?

– Здрасьте! – Подходят две девушки и один высокий мужчина с кустистыми желтыми бровями – кениец. Все втроем они несут картину. Поворачивают ее лицом к афганцам. На желто-зеленом фоне выписано разноцветными буквами: PeaceUkraine.

– А раньше я зэков возил, – говорит Андрей. – Это тоже война, только внутренняя. Их много, и они все стоят против тебя. Стараются машину раскатать так, чтобы она перевернулась. А моя задача – не дать ей перевернуться и довезти рецидивистов из пункта А в пункт Б. Знаешь, какая агрессия шла с их стороны?

– А с вашей?

– Со стороны охраны? Тоже была. Агрессия, направленная не против них, а на то, чтобы приехать домой живым.

– Ты долго будешь на Майдане стоять?

– Пока порядка не будет. Пока не увижу, что президентом стал человек, который тут с нами от начала до конца стоял.

– И кто это?

– Парубий.

За пологом афганской палатки стоит стол, заваленный бумагами, железная подставка с пузырьками, широкий лежак, накрытый одеялами, и скамейка. На ней сидит тот ветеран, что повязывал мне ленту. Я присаживаюсь рядом с ним. Он, обиженный, отворачивается. К карману его куртки со стороны сердца примотан белый пластмассовый крест.

– Крест на мне, потому что я православный! – ворчливо говорит он, заметив, что я его разглядываю. – То святые отцы нам передали. С молитвой защищающей. Вы тут ходите, спрашиваете, долго ли Майдан будет стоять, а мы в Афгане бог знает в каких условиях жили: и в палатках, и в бронетранспортерах, и в боевых машинах пехоты. И те годы, которые я там провел, – чувство локтя товарища, оно сохранилось до сих пор, – громко и членораздельно произносит он, словно уши мои закупорены и он может пропихнуть в них свои слова только частями. – Я этого никак забыть не могу. А мирная жизнь – ни пенсии, ни квартиры. Тут тебя могут и предать, и продать и тэдэ и тэпэ.

– А на войне могут убить, – замечаю я.

– А здесь не могут?! – дергается он. – На войне я знал, что товарищ прикроет мне спину!

– Почему вы на меня кричите?

– Потому что это последствия войны – и ранения, и контузии! И ничем их уже не погасить!

– Чем вы отличаетесь от обычных активистов Майдана?

– У нас есть боевой опыт. Когда человек в боевых условиях был, он может оценить обстановку и быстро принять решение. Мы можем снайпера засечь по вспышке, по звуку, по траектории пули. А те, кто на войне не был, – у них нет шанса.

Ветераны Афганистана, ничем не отличимые от российских, сидят на лежаке, пьют чай. Рассказывают, где и когда жили в Москве и в Питере. В палатку входит человек в штатском.

– Россия объявила войну! – сообщает он.

Сидящий рядом со мной поворачивается ко мне.

– И что вы нам теперь скажете?! – спрашивает он, и я понимаю, что афганская палатка – это, пожалуй, самое неподходящее место, в котором российского журналиста могла застать новость об объявлении войны.

– Да как же так? – обращается ко мне самый пожилой. – За что вы нас так ненавидите? За то, что мы не хотели терпеть преступную власть?!

– Вы понимаете, что ваши войска уже шуруют по Запорожской области?! – кричит мне другой. – Без опознавательных знаков!

– Да вас просто надо мочить!

– Ни одно государство такого не позволит! Один раз бы выехать и шурануть по этим вашим бронетранспортерам!

– А если Путин начнет вякать... – ветеран не договаривает и сжимает кулаки.

– Это вариант Абхазии!

– Нет! – возражает другой. – Я тебе скажу, что это. Это вариант мирного Майдана! Вот что бывает, когда действуем мирно! Надо было по-другому!

В палатку входит еще один человек. Судя по реакции остальных, он тут главный.

– Где тут российская пресса? – спрашивает он. Я встаю. – Вы понимаете, что мы с вами тут разговариваем, а ваша страна только что объявила нам войну? Вот эти люди, – он обводит мужчин пальцем, – они служили в Афганистане, в Югославии, в Ираке. Это военные люди, которые умеют выполнять команды и обороняться. Практически весь Майдан говорит одни и те же слова: когда увидели сплоченную силу афганцев, поверили, что Майдан не проиграет. Вы меня тоже правильно поймите! Я интернационалист, у меня жена русская, с вашей родной глубинки. Но какое право Россия имеет вторгаться на нашу территорию суверенного государства?!

– Когда вы воевали в Афганистане, то для мирного населения вы тоже были супостатами, – говорю я.

– Мы воевали не против регулярной армии, а против бандформирований.

– Хорошо. Для представителей бандформирований и их родных вы все равно были супостатами. У меня вопрос: чем вы отличались от супостата-беркутовца?

– А кто дал «Беркуту» право стрелять по людям? Я понимаю, что вы на вашей Болотной привыкли к тому, что вас постоянно бьют, а мы не привыкли! Я вольный сын казацкого народа. А Россия что сделала? Пока мы тут боремся с бандитами, поддержала Яныка и ввела войска в Крым! Это знаете как называется?! Пока вы деретесь, мы у вас кусок территории оттяпаем!

С женщиной-медиком я захожу в соседнюю палатку. Там, прилипнув к телевизору, сидит военный хирург.

– Вы что там, в своей России, охренели?! – кричит он мне.

Я быстро выхожу и попадаю в соседний отсек, где среди мешков с картошкой, банками с соленьем и кусками сала сохнет разноцветная картина, нарисованная кенийцем: PeaceUkraine.

* * *

Майдан мокнет под холодной изморосью. Мокнут цветы. Мокнут, но не гаснут свечи. Мокнут люди, собравшиеся перед сценой. Наступает вечер.

– Це війна! – разносится над Майданом ревуший голос какого-то политика. – Я заклинаю українськи народ боронити незалежність! Оглушується повна мобілізація! Сьогодні сипаратисти намагаються становити російську владу! – Он делает паузы между словами, наверное, чтобы каждое предыдущее успело раскатиться по всему Майдану и его не заглушило следующее. – Боронити Україну! Слава Україні!

– Героям слава! – отвечает Майдан.

– Смерть оккупантам!

– Смерть врагам!

Когда хор на секунду умолкает, над головами проносится женский вздох. И кажется, что это вздохнул сам Майдан.

Перед фотографиями погибших стоит женщина с обесцвеченными волосами. Она закрывает лицо ладонями и качает головой. Видны только ее глаза. На ногтях поблескивает дорогой вишневый лак.

– Что они там кричат? – спрашивает она, глядя в фотографии. – Мы себя даже защитить не можем. Какая мобилизация? Чем они будут воевать? Палками и камнями?

– Мы американские документалисты, – отвлекает меня от нее молодой человек в строгом пальто. – Сейчас в Штатах все смотрят «Оскар», а мы хотим привлечь их внимание к происходящему на Украине. Вы не могли бы сказать на камеру, как относитесь к происходящему?

– Могла бы. Если вас не смущает, что я из России.

– Русская? Ой, простите за беспокойство. – Молодой человек быстро отходит.

– Вы тоже русская? – поворачивается ко мне женщина. – Ой, может, они там у вас еще перерешают, а? Никогда я не думала, что нам с русскими придется воевать. Слышите, я же у вас на севере шесть лет проработала, – с причитанием произносит она. – Слышите, между Норильском и Красноярском, где Енисей. Слышите, я же дочь там родила. Я не бедный человек, смотрите, у меня бриллианты, – она трогает свои кольца, обильно усыпанные белыми камнями. – Но я не хочу войны! Мы же вообще сейчас всей этой ситуацией с Майданом ослаблены. Слышите, вот этот отец пятерых детей, – она показывает на черно-белое фото молодого мужчины, который настороженно смотрит на нас с доски, – он же просто лучшей жизни для своих детей хотел. Он не экстремист!

* * *

Под Львовскими воротами сипит накрытая крышкой бочка. На баррикадах темно. Дежурство несут трое: Стас, толстяк, который лушит тыквенные семечки, сидя у бочки, и старик, который был тут, когда я заглядывала в первый раз.

– А вы знаете, что войну объявили?

– Кто? – спрашивает толстяк. – Путин лично заявил? Пока сам Путин не скажет, я в войну не верю.

– Мы будем воевать до последнего! – говорит старик, вставая с бревна. Он спотыкается и падает. Я даю ему руку и помогаю подняться.

– У вас Чечня сзади, – говорит Стас. – Чеченцы, как только увидят возможность воткнуть вам нож в спину, они его воткнут. Поверьте, зло имеет свою память. Ну что, чаю с цукерками?

Пьем чай из пластиковых стаканчиков. На сцене поет грустный мужской голос. Майдан опустел. Только кое-где виднеются ярко-оранжевые жилеты ночных уборщиков, которые собирают между баррикад мусор в черные пластиковые пакеты. И как всегда, со сцены по территории шарит зеленый глаз, одевая Майдан в выпуклый световой купол.

– А Богдан вас ждал-ждал, – говорит Стас, положив цукерку за щеку и затягиваясь сигаретой. – Вот только десять минут назад как уехал во Львов. Но он просил вам передать, что к среде вернется. Он еще какую-то мысль про Россию обдумал...

Я – сотник

Интервью с бойцом самообороны Майдана

Корреспондент «РР» беседовала с сотником самообороны после решения Совета Федерации о возможности ввода российских войск на Украину. Текст записан буквально, позволяет видеть, каковы убеждения и накал страстей у тех, кого у нас называют боевиками Майдана.

– Вы – русская пресса. Значит, это интервью не выйдет в чистом виде. В лучшем случае, оно будет кусочками нарезано – как обычно делает русская пресса, изменяя весь смысл. Я знаю, что, находясь тут, вы мне скажете – да, я все сделаю честно. Но даже при всем своем желании писать правду, ты не сможешь писать правду. Там, в России, тебе не разрешат писать правду. Какое издание в России разрешит тебе опубликовать то, что я скажу?

– Вам остается только поверить мне на слово.

– Просто не хотелось бы потом где-то оказаться, ну... в какой-то степени предателем своих взглядов. Вы можете их так перевернуть, что, дав это интервью, я сделаюсь врагом. Вы хотите вывернуть мой патриотизм наоборот.

– Откуда вы приехали в Киев?

– Я из Новой Каховки, это как раз граница с Крымом. Я тут уже с двадцать седьмого ноября.

– Зачем вы сюда приехали?

– Ну, первое – это евроинтеграция. Я приехал сюда поддержать свой собственный выбор и выбор подавляющего большинства украинцев с востока и юга. Подавляющее большинство хочет евроинтеграцию.

– Почему?

– Объясняю. Я жил два года в Европе – в Голландии, Италии, Испании, Германии, Польше.

– Чем вы там занимались?

– Бизнесом. Там бизнесом заниматься гораздо проще. Там, где люди платежеспособны, им легче заниматься. Чем меньше денег, тем сложнее. Ваш вопрос элементарно снят.

– Это – особый стиль общения с российским журналистом или вы и в жизни эмоциональны?

– Это немножко внутреннее состояние, когда вам практически объявлена война. На нас нападают реально. Покамест еще без единого выстрела. Но ваши военные части нападают на наши объекты. То есть натурально нападают. Вероломно. Приводя абсолютно абсурдные доводы. Вранье – сплошное. Вот и весь ответ. Но русские люди ни при чем. Я знаю, что они – нормальные. Но чтобы вот такие поступки делать в двадцать первом веке, надо быть полным идиотом. Вот я могу заявить со всей ответственностью, что ваш президент – полный идиот.

– Продолжим про евроинтеграцию...

– Нет, давайте я вам скажу за коррупцию. Это когда тебе надо для того, чтобы справку элементарную получить, дать взятку. Это когда к тебе приходят с налоговой и трясут с тебя. Там, где нет коррупции, там всегда работать проще. Я могу часами про это говорить. Но зачем, если ваши люди очевидного видеть не хотят? Есть Интернет, есть масса возможностей правильную информацию узнать. Как вообще можно поддаваться на обман? На реальный обман, когда тебе рассказывают, что Россия – это хорошо, что Таежный союз...

– Таможенный?

– У нас его называют Таежным. А союз с Европой почему-то плохой. Вот я вам сейчас объясняю, что так называемый Таежный союз нужен был нашим президентам – так они могли играть в свои комбинации. А европейская интеграция – это кредиты, которые могли бы захо-

доть оттудова, они подразумевали бы какие-то гарантии того, что эти деньги пойдут на то, на что будут даны. А деньги, которые давались Россией... они давались как взятка президенту. Это, можно сказать, было продажей Украины.

– Итак. Почему вы уехали из Европы?

– Я не гражданин Европы. Я гражданин Украины.

– У вас была возможность остаться?

– Была. Но я – патриот своей страны.

– Что такое – быть патриотом своей страны?

– Я – националист. Прошу не путать с нацистом. Я люблю свою Украину. Я люблю... свой дом. Все вокруг. Свою природу. Реки, озера. Небо. Я просто люблю Украину. Я люблю наши традиции.

– Какие?

– Начиная от Рождества и так далее и тому подобное. Мы с вами – славяне, у нас одни и те же корни. Мы с вами друг от друга абсолютно ничем не отличаемся. Но мне не нравится ваш режим. И не нравился режим, который был у нас, но на данный момент надеюсь, он уже не вернется.

– Что вы думаете о назначении губернаторами Донецкой и Днепропетровской областей олигархов?

– А вы знаете, на каких условиях их назначили? Знаете? Не знаете... Они дали клятвенное обещание того, что буквально кровью искупят свое назначение. И они будут вкладывать свои финансы, работать под очень четким контролем. Поверьте мне, если они сделают шаг влево или шаг вправо, они как стали губернаторами, так и перестанут ими быть. Для этого есть службы, которые будут за ними пристально наблюдать. И какие-то коррупционные схемы у них вряд ли получится реализовать. Вот и ответ – на ваш вопрос.

– По-вашему, что такое клятва?

– Клятва?... Это данное слово. Это – обещание клятвенное, которое ты как будто не будешь нарушать.

– Вы всегда выполняли свои обещания?

– Ну... я всегда старался.

– Были случаи, когда не получалось?

– Да, конечно.

– А люди, которые вам давали обещания, они всегда их выполняли?

– Ну, тоже так...

– Исходя из этого, почему вы рассчитываете на то, что олигархи будут свои обещания выполнять?

– Я же не говорю, что кто-то верит их клятве. На данный момент эти губернаторы не особо интересны, я даже не вникаю в это... Я знаю одно – на данный момент нужно создать вертикаль власти как можно быстрее, чтобы контролировать ситуацию и навести порядок в стране. А то, что губернаторы... Не забывайте, что через три месяца будут выборы.

– И все же. Почему здесь, на Майдане, боровшемся против коррупции, назначение олигархов с безупречной репутацией, ставшее возможным на волне протестов, воспринимается как само собой разумеющееся?

– Нет, это возмущает. Людям это не нравится. Но есть кабинет министров у нас, они проводят какие-то назначения, они там – умные грамотные люди. Пускай работают. А мы посмотрим, насколько это эффективно. Наверное, есть у этих людей какие-то заслуги, раз им губернаторство доверили.

– Какое у вас звание в самообороне?

– Я – сотник.

– Сотник – это кто?

– Ну, у меня есть люди в подчинении – сотня человек.
– Почему сотню доверили именно вам?
– Наверное, я имею для этого какие-то способности.
– Чем занимается сотня?
– Контролирует внутренний периметр. Обеспечивает охрану сцены. Участвует во всех боях.

– И вы?

– И я. В том числе и в последних. В моей сотне есть и убитые, и пропавшие без вести, и получившие огнестрельные ранения.

– Как звали убитых?

– Я не хочу говорить их имена. Зачем их беспокоить?

– Тогда опишите, пожалуйста, бой.

– Посмотрите, пожалуйста, в Интернете... Куча вооруженных до зубов людей, пусть даже без огнестрельного оружия, которые просто расстреливают нас. Пусть это резиновые пули, но, поверьте мне, с близкого расстояния в лицо – это смерть. Это чтобы вы понимали силу этого оружия. Зачем мне описывать вам бой?

– Мне кажется, что в Интернете я увижу картинку, а человек, находящийся в ситуации, не имеет широкого обзора, значит, опишет ее по-своему.

– Так вот, чтоб ты понимала, это когда у тебя глаза гноятся, ты кашляешь, выкашливая просто... не будем вдаваться в подробности. Когда у тебя под ногами взрываются гранаты, от которых тебя подкидывает. И ты, оглушенный контузией, не понимаешь как минимум пять минут ничего... Да, это довольно туннельное видение, действительно. Ты видишь противника, но не видишь рядом стоящего. У меня был такой случай, когда они начали идти на нас, случилось так, что ребята начали отступать – закидывали гранатами, а их тяжело выдержать. Я хромал и остался. Видел противника. Видел, как они идут. А потом глянул по сторонам и понял, что рядом со мной еще несколько наших.

– И что? Вы побежали?

– Отступили. Сражаться было бы глупо. Поставить свою голову на смерть? Они бьют ногами, руками, топчут, прыгают на тебе. Звери.

– Когда вы находили кого-нибудь из них, как поступали вы?

– Я могу вам сказать. Когда это были взвэшники, все, что мы делали – это раздевали их, хотя многим хотелось ударить. Мы отбирали щит, дубинку, бронежилет и просто отталкивали назад. А если попадался «Беркут»... ну тяжело было людям не дать... потому что он – зверь.

– Это чувство, когда бросались на поверженного «Беркута», оно было вынесено из боя, вызвано напряжением, и его, это напряжение, нужно было снять на условном враге? Или это была злость, направленная конкретно на «Беркут»?

– Поведение «Беркута» – оно настолько людей озлобило. Когда на глазах у других они просто отрезают голову... Ну как относиться к этим людям? Просто ставят на колени, берут нож и отрезают голову. Ну о чем тут говорить?

– Вы это видели?

– Нет, но есть же видеосъемки. Это есть на кадрах тех людей, которые своими глазами видели.

– По вашему мнению, чем руководствовался «Беркут» – такой же злостью?

– Мне тяжело думать так, как думают они. Потому что я не понимаю, как можно так думать. Они – звери. Вы посмотрите, как они избивали детей. С чего мы начали до того, как вы меня в сторону увели? Да, ты меня увела... А я начал с того, что я просто приехал протестовать и как бы... изъяснить свое желание вступить в Евросоюз. Я побыл здесь два дня и уехал. Но только я уехал, как сразу произошло избиение возле елки. Их там оставалось – семнадцати – и восемнадцатилетних – человек пятьсот. Непонятно, зачем вообще их били. Если бы не били,

они бы там еще день-два посидели и разошлись. Я тогда до избиения сам пришел, посмотрел на них, подумал – дети, что мне среди них делать? Поэтому ушел. И эти дети уж точно неспособны вызвать у беркутовцев таких эмоций, чтобы так бить. Беркутовцы отобраны. Они четко отобраны для работы и заряжены своей пропагандой.

– Когда происходил расстрел снайпером из этой гостиницы, где мы сейчас находимся...

– А-а-а, это когда ваш русский снайпер расстреливал и в одну, и в другую сторону?

– Национальность снайпера мне неизвестна.

– Это тебе она неизвестна, а мне известна.

– Хорошо. Перейдем к вопросу, который я хотела задать. Когда производился расстрел, что держало людей на Майдане?

– Исключительно человеческий дух и патриотизм. Желание быть свободным и независимым.

– Свободным или мертвым?

– Знаешь, в чем дело? Я готов отдать свою жизнь за свободу.

– Чем для тебя является человеческая жизнь?

– Человеческая жизнь – превыше всего. Вечная память погибшим и хвала.

– Как показывает человеческая практика, память о погибшем до конца дней сохраняется только у одного человека – у его матери.

– А ты не видишь, сколько свечей и цветов вокруг? Когда гробы выносили... мне тяжело об этом говорить. Когда я начинаю об этом говорить, я начинаю злиться.

– Злиться или сожалеть?

– Злиться, сожалеть и сострадать. Злость – против тех, кто стрелял в безоружных. Против тех, кто давал указания и кто эту игру затеял. И, поверь, к «Беркуту» у меня двоякое отношение. Просто... ну как сказать, чтобы помягче? Это – моральные уроды. Прос-с-то скоты! Которых мама, папа с детства били, их обижали в школе, во дворе – везде. Мне тяжело понять, как человек может до такого докатиться.

– До Майдана ты испытывал к кому-нибудь схожие эмоции?

– До Майдана?...Ну, может, где-то и испытывал. В частности, по отношению к нашей власти, которая просто приезжала и отжимала внаглую собственность у людей. Отчего тут собрались украинцы, которые всегда спокойные? Ты же знаешь поговорку – «Моя хата с краю, ничего не знаю». Це про нас – про украинцев. А вот смотри, оказалось, что не с краю. Это как надо было нас допечь. Реально допечь. И сделал это дядя Витя Янукович.

– Возвращаясь к памяти. Свечи и цветы, в меньшем, конечно, количестве, я видела в Волгограде после совершения терактов в конце декабря. Как показывает жизнь, общество довольно быстро забывает о жертвах.

– Ну, это ваша беда – российская.

– Я думаю, это – общая беда.

– Нет. До этих событий я действительно считал, что украинцы вряд ли уже встанут после Майдана две тысячи четвертого года. Но я ошибался, и я этому рад. Я горжусь своей нацией. О тех, кто просто ехал по своим делам и погиб у вас в Волгограде, у меня сожаления не меньше, чем о наших героях, которые погибли от пули негодяев, больных идиотов, которые стреляли – два человека в левый глаз, два человека в правый глаз. Это же... вообще. Но сожаление одно и то же.

– Как ты относишься к заявлению Яроша, обратившегося за поддержкой к Докку Умарову?

– Дело в том, что у Яроша свое видение. Для чего он это делает, это его дело. Я противник такого, но...

– Вставляется «но»? Значит, терроризм может быть оправданным?

– Вы должны быть готовы к тому, что тут будут возникать радикальные группы, которые будут так делать. Потому что вы на нас вероломно нападаете.

– Вы хотите сказать, что из Украины в Россию могут выходить смертники?

– Если вы не уйдете из Крыма. Если начнется война и будут убиты чьи-то родные и близкие... Люди будут мстить. Я полностью против этого. Я еще раз повторяю – для меня это неприемлемо. Я этого не желаю и не хочу. Но это неизбежно. Как вы этого не поймете?

– Известно, что террористы совершают террористические акты потому, что у них нет армии для того, чтобы вести войну. Говоря о вылазках смертников, подтверждаете ли вы тем самым, что у Украины нет армии?

– Слышь... вот ты интересная какая... Чечня – вот такая маленькая. Какая у нее полноценная сила воевать против России? И такая же Украина – разодранная на куски вашими же технологиями. Технологиями Путина на данный момент... Просто меня удивляют твои вопросы. Я не привык к такому.

– А к чему ты привык?

– К взаимопониманию.

– У нас не может быть взаимопонимания. Я – журналист. Моя работа – задавать вопросы. Я обещала тебе, что не перевру ни одного твоего слова, но я не обещала, что буду задавать вопросы, которые тебе будут приятны. Мой следующий вопрос – почему Майдан не расходится?

– Вообще-то, у нас война, если ты не знала. Вы на нас напали.

– Но речь идет о Крыме. А мы – в Киеве.

– Я тебе объясню. Вот именно этого Путин от нас и ждет. Для того он и создает такую нервную обстановку, чтобы мы поехали туда и всем объявили бы – бандеровцы приехали. Скажи, я похож на бандеровца? Хотя я к Бандере хорошо отношусь.

– Почему?

– Я не вижу ничего плохого в человеке, который хотел для своей страны свободы. Но с детства нам вбивали в голову, что он – какой-то немецкий прихвостень.

– И как ты эту вбитую информацию выбил?

– Просто разобравшись немножко. Тут не надо много копать. Разобрался, как ваши энкаведисты заходили переодетыми в села и расстреливали. Об этом рассказывают очевидцы.

– Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, свободы надо добиваться любой ценой?

– М-м-м... всегда должен преобладать разум. И в наших действиях на Майдане это было очевидно. Мы до последнего старались не допустить кровопролития. Самооборона всегда вставала живым щитом между людьми и «Беркутом». Мы постоянно старались не дать возникнуть каким-то конфликтам.

– Все боестолкновения происходили без оружия?

– Абсолютно. Нас расстреливали за нашими картонными щитами.

– Сейчас многие молодые ребята ходят по периметру Майдана в камуфляжной одежде, масках. Это – такая мальчишеская игра?

– Объясняю. Эту камуфляжную одежду нам выдали уже после боевых действий. То есть этой мальчишеской игры до того не было. Люди ходили – кто в чем, кто как. Да, сотникам выдавали одежду.

– И ты легко откажешься от своей? От своего бронежилета?

– Поверь, я с огромным удовольствием откажусь. Я ненавижу носить бронежилет на себе. Зачем он мне? Я хочу мира. Я спокойный человек. Тут все в основном такие. Никто не хочет войны. Правда. Поверь мне.

– На днях я видела, как по Майдану вели взятого в плен человека, которого называли «титушкой». Его вели люди из сотни. Ты считаешь нормальным избивание этих людей – титушек?

- Не считаю нормальным.
- Считаешь ли ты нормальным то, что какого-то пойманного вора так же показательно водят по Майдану?
- Ну а что делать, если милиция бездействует? Если ее практически нет?
- Мой вопрос состоял в следующем – считаешь ли ты нормальным унижать человека, независимо от того, виноват он или нет?
- А где там агрессия? Разве это агрессия – связать ему руки и провести, показать, что он – вор? Никто его не бил и никто не обижал.
- В подобной ситуации ты сам...
- Ты хочешь, чтобы я себя представил на месте вора?!
- Необязательно вора. При желании вину найти несложно. Допустим, тебя в чем-то обвинили. Ты предпочтешь, чтобы тебя выставили на всеобщее обозрение или все же быть избитым?
- ...Знаешь... я считаю, что для того, кто ворует, то, что его проводят по Майдану, – это просто счастье. За то, что он ворует, государство должно дать ему от трех до пяти лет. Спроси у любого вора, что предпочитает он. Я уверен, он выберет, чтобы его провели по Майдану и отпустили.
- Как ты думаешь, люди, которые исполняют это наказание, они не меняются внутренне?
- Думаю, нет. А что их может поменять? У нас здесь три месяца было государство. Здесь действует сухой закон. Мы боролись с режимом и продолжаем это делать. Непосредственно моя сотня все это время отвечала за безопасность. В нашей компетенции было заниматься пьяными и крадунами. Мы ловили тут и гопников.
- Гопники – это кто?
- Те, кто с нашими атрибутами нападал на людей под видом самообороны. Под видом, что они нападают на титушку. Отбирали телефон, деньги. Мы их ловили и таким образом охраняли порядок. И мы выводили их на сцену, показывали всем людям.
- Зачем?
- Чтобы они больше так не делали. А что нам делать? Мы не можем их бить, не можем посадить их в тюрьму. Нам важно было показать – люди, здесь так не делайте, если хотите, идите за Майдан, и делайте там. А если ты говоришь о титушках, которых кто-то не сдержался и ударил... Поверь, мы столько титушек отпустили. А мне задавали вопросы – зачем отпускаешь, почему? Они ведь когда ловили наших, реально избивали, издевались так, что просто караул. Делали вещи такие, про которые даже вслух не хочется говорить. У нас поймали одного сотника, мне позвонили с его телефона и такое мне говорили... что даже невозможно было слушать. Они – отморозки. Прос-сто отморозки. Бывшие уголовники. Те, которые вместе с этими «беркутами»... Им раздавали травматическое оружие, да... т... т... т-т-т... т-ты представить себе не можешь, какие это кошмарные люди. «Беркут» хоть что-то может оправдать – у них устав, у них приказ. А эти – чистые моральные уроды и негодяи.
- Тебе не сложно руководить сотней?
- По-разному бывает. Как людям объяснить, что, находясь здесь долгое время, надо держать себя в руках? Что здесь нельзя многих вещей, которые можно за Майданом. Но обычно у людей высокое самосознание. Люди у нас – нереальные. Восемнадцатого-девятнадцатого числа, когда у меня уже не было сил, я отдал свой бронежилет и каску, а сам отправлял группы. Я видел, как наши люди разливали чай, носили дрова, выбивали брусчатку, чтобы откидываться от «беркутов». Передавали ее цепочкой. Это надо было просто видеть.
- Почему ты раньше не замечал у людей тех качеств, которые были проявлены сейчас на Майдане?
- Я уверен, что они и раньше были.
- Самый тяжелый день для тебя на Майдане?

– Каждый день по-своему тяжел.

– Но не сегодняшний?

– Нет, сегодня день не тяжелый. Вчера был морально тяжелый день. Потому что ваши войска зашли в Крым. Я хочу, чтобы российские мужчины почувствовали то же самое, что сейчас чувствуем мы. А почувствуют они это, только когда на их землю придут, и скажут что она – наша. И флаг воткнут какой-нибудь китайский. Будет у вас такое, вот посмотрите. Жизнь – это бумеранг. Если вы думаете, что вы – огромная страна и непобедимая, то вы заблуждаетесь. Вы сейчас весь мир против себя озлобили. Я вам этого не желаю. Но так будет. И вот когда к вам придут и начнут ставить флаги китайские...

– Давай уточним – к кому к нам?

– К России.

– А как ты себе Россию представляешь? К кому конкретно придут? В Москву, на Дальний Восток?

– До Москвы дойти тяжело. В Москве, я думаю, ваши люди когда-нибудь соберутся и воткнут Путину флаг в одно место. А куда в России... Да куда угодно. Если бы я был россиянином, и китайцы зашли бы на Дальний Восток, для меня не было бы значения – Москва это или не Москва. Когда приходят на твою землю и какой-то двадцатипятилетний русский из Москвы залазит в Харькове и ставит русский флаг – это оскорбительно. Это просто... п-плевок в душу каждому украинскому мужчине, каждому патриоту Украины, каждому нормальному человеку, который хочет жить спокойно и разбираться в своих внутренних делах сам. Понимаете? Сейчас я свои чувства не могу передать. Они – омерзительны. При том, что от вас – россиян, – которые называли себя нашими старшими братьями... Оставьте нас в покое, а? Дайте нам жить! И не надо нам газа вашего! Я вам говорю – отстаньте! Я буду сухари есть. Отстаньте только.

– А по факту все ли украинцы хотят сухари есть и сидеть без газа?

– ...вот я вам говорю – отстаньте. Не давайте нам газа, вообще ничего. Потому что нам слишком дорого обходится ваша помощь.

– Как ты думаешь, когда здесь окончательно изменится отношение к русским?

– К русским? К русским тут отношение очень хорошее.

– Разве? Еще три месяца назад я не могла себе представить, что кто-то тут, в Киеве, позволит себе разговаривать со мной в таком тоне.

– Это я не тебе говорю. А вашей России.

– Я – гражданка России.

– И что, ты за войну в Крыму?

– Для данного интервью это не имеет значения.

– Нет, ты скажи мне по-человечески – ты за войну?

– Я не думаю, что наберется много нормальных людей, которые были бы за войну. Но я совершенно не собираюсь здесь и сейчас произносить оскорбления в адрес своей страны, которую я люблю не меньше, чем ты любишь Украину.

– Оскорбления в адрес России я бы и не стал слушать. И я Россию оскорблять не собираюсь. Но мне омерзителен ваш режим. Ну чем мы вам помешали? Мы платили самую высокую цену за газ. Чего хотите?! Что надо? Мы Путина трогали?! Чё он нас трогает?! Все, что он хочет сделать в отношении Украины – у него не получится. Все его планы читаются, это он думает, что он хитрее. А на самом деле, у нас люди очень неглупые.

– Давай представим такую ситуацию на грани фантастики – сейчас на моем месте сидит Путин, пьет с тобой чай и говорит тебе...

– Нет!

– Дай я доскажу... Итак. Он говорит тебе: «Сереж, давай поговорим. Я объясню тебе, почему делал то и это, чем руководствовался». Ты будешь способен изменить свое мнение о нем?

– А как ты относишься к Путину?

– Для данного интервью это не имеет значения. Ты будешь способен изменить свое мнение о нем?

– Нет! Никогда! Это – невозможно! Этот человек для меня... да он... да... Чего он мне будет рассказывать, когда правда – одна?!

– Обычно правда – в деталях.

– Но только не в этом случае! Не в этом!... Я хочу, чтобы тебе было понятно. Я из Каховки, за мной начинается Крым. Я очень хорошо знаю крымчан и что внутри Крыма происходит. Крымчане ни за какие конфеты от Путина не станут втыкать российские флаги. Крым останется с Украиной.

– Поясни, пожалуйста, еще раз. Значит, Майдан сейчас стоит в защиту Крыма от России?

– Да.

– А каким образом ваше стояние в Киеве влияет на ситуацию в Крыму?

– У нас есть армия. У нас через Каховку уже танки подтягиваются. Армия наша не спит, мы будем давать отпор. У нас происходит мобилизация – пока учебная. Поверь мне, если Россия сделает хоть один выстрел, люди из сотен и самообороны будут делать то же самое.

– Здесь или в Крыму?

– Покамест мы не собираемся поддаваться на ваши провокации. Мы надеемся, что разум возьмет верх. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы нас услышали. Сейчас в данный момент мы – стражи порядка. Во всем Киеве.

– Но во всем Киеве спокойно.

– Но есть помещения министерств. И есть разные дома, в которые мы не даем залезть мародерам. Когда милиция слаба, у города есть нужда в нас.

– Значит, когда Майдан разойдется?

– Когда Путин уйдет из Крыма.

– Но, кажется, до того, как Путин вошел в Крым, Майдан тоже не собирался расходиться, нет?

– Мы собирались. Мы уже думали – что дальше делать? Но сейчас Майдан стоит за Крым. И это только тебе так кажется, что мы никак не влияем на ситуацию в Крыму.

– Возможно, мне это действительно кажется. Но тогда объясни, как вы влияете.

– Своим стоянием мы... Ну тут все происходит – и координация внутренняя, и мобилизация... да... но... у тебя на самом деле такие красивые глаза, что... давай о них лучше поговорим. А то я смотрю на тебя, смотрю, а мысли уже не о том.

PS. Последнюю фразу я оставляю, верная своему обещанию передать наш разговор от начала до конца.

(Сотник погиб 18 августа 2014 года на юго-востоке Украины.)

Три Богдана

По дороге села Летня цокают две лошадки, запряженные в телегу. На облучке сидит молодой мужчина в спортивных штанах. Телега застлана сеном, колеса – резиновые, автомобильные. Только что на повороте телега попала в большую лужу. По обочине бежит ручей, унося дождевую воду. Небо – чистое, только далеко за кронами деревьев по нему проходят полосы серо-коричневого дыма. Где-то в поле жгут прошлогодние листья. Воздух – дымный, холодный, с клейким запахом молодых почек.

Близко к копытам дорогу перебегают черная дворняга. Упряжка сворачивает влево, открывая вид на дорогу и показывая одноногого мужчину в черной куртке. Он быстро и ловко передвигается на костылях, словно никогда и не знал, что такое иметь вторую ногу.

– Я – фашист... Я – фашист? Я? Фашист? – повторяет он, сворачивая к двухэтажной школе, из чистых окон которой смотрят белоснежные занавески. Останавливается у крыльца, тяжело навалившись подмышками на костыли. Его трехногая тень падает на солнечную землю.

– Фашисты – це олигархи при владі, це – зло. Вот чему детей мы учим, и вот как надо их учить, – он поднимается по ступенькам. – Я – учитель истории. Бандера родился в двадцати километрах отсюда. Летня – самое бандеровское село, дальше некуда. Но я – не фашист, – он качает головой в черной кепке. Из-под ее козырька на вспотевший лоб выбивается черная челка. Над губой учителя истории Богдана – полоска черных усов.

Так же ловко – ставя на ступень металлический костыль и подтягивая за ним ногу – Богдан поднимается на второй этаж. В пролете на стене висит лист ватмана, на котором чернилами нарисована голова Тараса Шевченко в каракулевых папах и воротнике. Из-под белых усов смотрят рисованные гроздья черного винограда. Под портретом четверостишие, выведенное аккуратной рукой – «У на оновлений землі, врага не буде, супостата. А буде син і буде мати, У будуть люди на землі». Лестница выводит к стене, у которой раскатан отрез красной синтетической дорожки, на той горят четыре поминальные свечи, по бокам стоят вазы с лилиями. На стене – фотография мужчины, схваченная черной лентой. Под ней – плакат с желто-голубыми словами: «Вони загинули за нас».

– Это брат моей жены, – говорит Богдан. – Он – герой. Погиб на Майдане – пуля в голову. Звали Богданом. Заходь-заходь, – открывает передо мной двери класса.

Учительский стол покрыт скатертью с вышитыми цветочками. В углу – кафельная высокая печь. Ученики сидят за партами и стоят у доски. Последний урок только что закончился.

– Это мой седьмой класс, – говорит Богдан. – Я их классный руководитель. Сегодня на уроке истории мы проходили Петра Першого. Что мы еще проходили? – обращается он к ученикам.

– Битву под Полтавой, – отвечают те. – Як она була, як она закінчилася. Як Петр Перший переміг.

– А еще кого из русских правителей вы знаете?

– Путина... – отвечают семиклассники, прячась за печку.

– Чего вы стесняетесь? – спрашивает Богдан. – Расскажите, как вы к Путину относитесь?

– Да ни як, – смеясь и не выглядывая из-за печки, отвечают они.

– Он – президент России, – говорит мальчик, сидящий за партой. – Плохой. Неправду говорит.

– А к России как относитесь? – спрашиваю я.

– Вы ненавидите Россию? – утяжеляет вопрос учитель.

– Да не, – отвечают ученики. – Зачем?

– Так они еще маленькие, чтоб политикой интересоваться, – говорит он. – Они в основном музыку слушают. Какую? – обращается с новым вопросом к ученикам. – Ра-сий-с-ка-ю, – сам отвечает за них.

Выйдя из школы, Богдан идет в ту сторону, куда полчаса назад свернули лошадки. В весенней траве на обочине копошатся белые куры с ярко-красными гребешками. По левую сторону – дома: в один или два этажа.

– Я – фашист? Я? Фашист? – снова спрашивает себя он, и так доходит до стелы, стоящей на постаменте, а у ее подножия лежит плита с выгравированными фамилиями. В верхушке стелы – каменный венок. Ниже – надпись: «Вечная слава героям».

– А если я – фашист, почему у меня в селе стоит памятник советским воинам? – спрашивает Богдан. – Мой прадед – Герой Советского Союза, – растягивает он слова, от чего кажется, что это легкий ветерок, гуляющий в ветвях граба, утягивает их из его рта. – Его в сорок четвертом призвали, ему было девятнадцать лет. А тех, кто не хотел, сразу в бандеровцы записывали. Через две недели они уже были в бою, и половина из них была уничтожена. – Он направляет костыли в проход оградки, окружающей стелу. Карабкается ближе к плите. – Хамандяк В.П. – тысяча девятьсот первый – тысяча девятьсот сорок третий, – читает он. – Хамандяки – это мои родичи. Старшей сестры муж – из Хамандяков.

На плите, покрытой тонким слоем зеленого мха, оказывается еще три брата Хамандяка. Только один из них – тысяча девятьсот восьмого года рождения – дожил до сорок шестого года.

– А я, получается, фашист. – Богдан вытирает мокрый лоб. – У нас в Дрогобычском районе – тридцать восемь сел. В каждом есть такие памятники, кроме трех. В тех – сломали... Це герои, – говорит он, спускаясь вниз. – Вне зависимости от того, за кого загнули. Кратко: главное – что за родину воевали. За ро-ди-ну.

Сельский учитель отправляется дальше – вперед по дороге к деревянной церкви, крыша которой накрыта пластинами такой блестящей стали, что кажется, на ней плещется вода. Иконы на входе в церковь проложены вышитыми полотенцами. Холодное солнце высвечивает зеленые отметины на боках грабов. Из земли поднимаются ярко-белые кресты, на которых яркий свет стирает темные пятна зимних осадков. Икона на деревянном фасаде яркостью красок оттеняет бледность весны, входящей сейчас в село Летня, и подснежников, кое-где поднимающихся из травы.

– Живем бедно, – говорит Богдан. – А хотим жить лучше. Постоянной работы нет, в основном в селе живут за счет заработков за рубежом. Мы привыкли каждую копейку считать, но церковь люди построили сами – за свои деньги.

– Разве вы бедно живете? – спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. За церковной оградой виднеются двухэтажные дома – белый, желтый, розовый. В одном из дворов – высоким квадратом сложены кирпичи. Некоторые крыши краснеют черепицей.

– Да вы посмотрите на эти хаты! – опершись на костыль, Богдан поднимает другой и показывает в сторону домов, которые я сейчас разглядываю. – Разве это гарно? Разве это хорошо? С девяностых годов у нас строится новая школа и никак не могут закончить. У нас тут завод долотный работал. Его Газпром приватизировал и закрыл... А вы были в Европе? Мы с Европой сравниваем. Там – порядок. Как там хотим жить. Живите и вы краше. Чем краше наш сосед живет, тем и нам краше. Я – сельский учитель. Моя зарплата в перекладе на доллары – двести. Я хочу достойно жить и достойно зарабатывать.

Выйдя из церковной ограды и снова ступив на сельскую дорогу, Богдан своей бойкой ходьбой демонстрирует – и одной ногой человек может развивать большую скорость. На повороте его нагоняет невысокий человек. Они здороваются за руку, тот представляется мне Андреем, и дальше они идут вместе. Богдан – немного выбиваясь вперед.

– Я – фашист... – снова начинает Богдан. – Скажите, что мне должна сделать Донецкая область, чтобы я туда поехал и начал кого-то... резать? – Последнее слово он произносит почти

по-соловьиному – нараспев. – Когда-то здесь так сложились обстоятельства – я могу, как историк, вам фактами и цифрами объяснить.

– Украинско-польская история очень кровавая, – хриплым голосом начинает Андрей и говорит очень быстро: – Резали по очереди – эти тех, те – этих. Обстоятельства были многослойными – людей насильно переводили в католическую веру, закрывали храмы, отменяли украинский язык. Но они же не просто так поднялись и начали резать – их тоже резали. Я – десятник. На Майдане я участвовал в уличных боях. Богдан погиб на моем посту. Он в тот день только в шесть утра приехал в Киев, а в половине девятого уже был убит.

– В селе улицу хотят назвать в его честь, – говорит учитель. – Но я против. Сколько денег уйдет на то, чтобы сменить таблички? А люди – бедные...

По квадрату земли, огороженному металлической сеткой, вокруг пластмассового таза с водой ходят куры, гуси и одна цесарка с крапчатой спиной. Хилый петух стоит, далеко вытянув шею, и время от времени надывается удивленным криком, словно видит в траве нечто особенное. Лает коротколапая рыжая дворняга, выглядывая из-под двери сарая, в которой специально для нее квадратно вырезан уголок. Этот сарай стоит между двумя белеными низкими хатами. Двор засыпан мелким гравием. В палисаднике стоит белый колодец с ржавым колесом.

– Я еще не верил, когда мне позвонили и сказали, что Богдан убит, – говорит живой Богдан, – не хотел жене говорить. Но зашел во двор и услышал, как воет Барс, – он показывает на дворнягу. – А он никогда не выл. И тогда я понял у себя в душе – это стопроцентно уже, Богдан погиб... Это Богдана батькин дом, – он кивает на хату справа, – а это – материн, – кивает на хату слева. – Они были соседями, потом поженились. Теперь оба дома пустые, в них никто не живет.

Через двор спешит женщина в приталенном бежевом пальто старого фасона, в черных туфлях. На шее – прозрачный черный шарф. Она заходит в хату, где жила мать. Там в узкой прихожей на тумбе, прикрытой вышитым полотенцем, спит линяющий черный кот. За тумбой стоят мешки, набитые просом для птиц. У другой стены – разошедшийся диван, накрытый выцветшим килимом. Женщина вынимает из кармана листок бумаги, сложенный вчетверо. Разворачивает. На нем крупным почерком написано: «куры маленькие – 2, куры большие – 3, гуси – 3, индокачки – 6, цесарки – 1».

– Вот он ехал на Майдан, – говорит она, трогая покрасневший нос рукой, – а я говорю: «Ну, напиши ты мне, как их кормить». Он написал. У него хобби было такое – декоративные куры – для красоты, для души. У него четыре петуха, вы можете себе представить? – плачет она. – Зачем в хозяйстве – четыре? Ему просто было жалко их. А резать кур он никогда не мог.

В комнате встречает та же фотография, что висит в школе на стене. Тут Богдан – сорокалетний мужчина в вышиванке, с уже образовавшимися залысинами по бокам русой головы – смотрит, подняв подбородок, с ковра. На столе перед ним – коробка с истрепанными общими тетрадами. Его сестра вынимает из нее корочку школьного аттестата.

– Видите, как он учился в школе – одни пятерки и четверки, – говорит она, раскрыв аттестат. Следующей она достает из коробки трудовую книжку и тоже показывает. – Он закончил Львовский техникум по обработке древесины и был принят на работу старшим мастером.

– Зачем вы показываете мне его аттестат и трудовую? – спрашиваю ее.

– Ну как... А больше же после него ничего не осталось. Он не женился, дом не построил, это все ему не нужно было, но детей он любил и в школе учился хорошо. Потом четыре года работал в Италии – садовником. Он был очень добрый и очень хороший человек.

– А почему не женился? – спрашиваю ее.

– Заядлый холостяк, – отвечает ее муж. – В молодости не женился, а потом так пошло. Но вот он автографы собирал олимпийских чемпионов. – Богдан достает из коробки общую тетрадь. Открывает ее. Все листы исписаны аккуратными ровными буквами и цифрами. – Он записывал результаты всех Олимпийских игр. Девяносто второй год – Барселона, – видите? –

водит Богдан пальцем по строчкам. – Дзюдо, теннис, фехтование. Он вел документацию каждой игры до две тысячи десятого года. А перед смертью он болел – следил за Олимпиадой в Сочи по телевизору. Но когда начался штурм, он сказал, что должен быть там, и поехал... Я бы сказал, что он не был счастлив – потому что у него не было детей. Для меня все, у кого нет детей, несчастны... Но у него были его Олимпиады, по переписке он собрал три тысячи автографов олимпийских чемпионов – Вячеслава Третьяка, Льва Яшина, Турищева...

– Наши дети вставали и бежали сразу к нему, – говорит его жена. – Мои дочки тут следили за порядком, – оборачивается на сервант, в котором за стеклом каждая чашка с блюдцем, каждая статуэтка проложены вышитыми крестиком салфетками. Проход в другую комнату – завешен крахмальным полотном с вышивкой того же орнамента. Я заглядываю туда.

Всю тесную спальню занимает кровать со вспухшим матрасом. Он туго затянут покрывалом, но все равно бугрится под ним. Сверху лежит подушка с вышитым уголком. На стене за кроватью – ковер.

– В этом доме незаметно присутствия мужчины, – произношу я.

– Так понимаете, – отвечает женщина, – он тут с матерью старенькой жил. Она год назад умерла, а мы, по традиции, год ничего не должны после смерти в доме менять. И Богдан тоже погиб двадцатого февраля – в день ее рождения. А первого апреля, когда ему будет сорок дней – это день рождения нашего отца... Я вам скажу, что у меня было предчувствие – двадцатого февраля я пошла в церковь, у нас день траура был. Стою, а у меня слезы текут, текут, текут, – снова подносит она к лицу руку, на которой тускло выделяется узкое обручальное кольцо. – Целую ночь я ему звонила, а он постоянно... вне зоны... Так по-русски говорится? Я просто двадцать пять лет уже по-русски не говорила... Телефон всегда был в кармане. Утром пришло сообщение, что он доступен, я сразу нажимаю на кнопку – «Ты где есть?». Ответа: «Я уже в Киеве на Майдане». – «Спокойно там у вас?». – «Нет, тут ужас делается. Стреляют. Меня зовут, я по...». Он даже не договорил, а я подумала – ну пошел он и пошел. Включила телевизор, а там – один погибший, второй, десятый...

– Мы видели, как они за нами шли, – подает голос Андрей. – В полшестого, когда мы уже уходили спать, было нормально – одного убили, пару ранили. А они только приехали, вышли из автобуса и сразу – штурм. Он не умел обращаться со щитком, прятать голову. – Андрей надевает на руку воображаемый щит и, нагнувшись, прячет за ним голову. – Мы только легли, сразу – шур-бур. Встали, начали выносить трупы. И Богдан там тоже был.

– Мы с ним разговаривали перед смертью, – говорит Богдан, – вот тут собралась вся семья. Мы его спросили: «А если ты жизнь отдашь?» Он ответил: «Пойду без сомнения».

– А от меня жена ушла – не хотела, чтобы я ехал на Майдан, – говорит Андрей. – Но сердцем и душой я все равно уже был там, а телом здесь. Но тело все равно за душой потянется.

– Понимаете, – говорит женщина, – мы – семья украинских националистов. Я родилась седьмого декабря, и Богдан сам придумал мне имя – «Это будет Любочка, моя голубочка»... Он был страшным патриотом. Ну, просто у нас есть такое в крови. Мать, когда умирала год назад, она собрала узелок себе в могилу и говорит мне: «Ты посмотри, что там». Я открываю, а там – две фотографии Степана Бандеры и наш трезубец... И мой дед был националистом, за это его сослали в Сибирь, оторвали от пятерых детей.

– Кто такой Степан Бандера? – спрашиваю я.

– Вы знаете, – отвечает за нее Богдан, – УПА воевала против Германии, не давала людей отсюда забирать, а потом, когда пришли советские войска и они начали над нами издеваться, – воевала уже с ними... Ну, как же так вы из-за этого сегодня сделали из нас фашистов?

– Здесь в каждом доме, в каждой семье кто-то погиб, воюя с фашистами, а потом – с советской армией, – говорит Андрей. – Но люди живут мирно.

– Нет, пусть я буду бандеровцем! – топает по полу костылем Богдан. Сейчас он стоит, подсунув под отсутствующую ногу костыль. Собранная и подоткнутая серая брючина образо-

ывает между ногой и костылем мягкую подушку. – Да, я – националист! – кричит он, а во дворе в это время очередным удивленным криком надрывается петух. – Я люблю свою отчизну! Я люблю свой народ! Но я не буду никого завоевывать, а за свое буду воевать до последней капли крови!

– А как вы будете воевать? – спрашиваю, опустив взгляд на его отсутствующую ногу.

– Интеллектом!

– В Дрогобычском районе сейчас все мужчины мобилизованы, – говорит Андрей.

– У меня к вам большая просьба. – Учитель снимает кепку, вытирает лоб и возвращает ее снова на место. Кажется, его грузное тело постоянно в легком напряжении – от того, что нет второй опоры. – Вы не могли бы написать в статье нашу просьбу... Я хочу продолжить дело Богдана. Вы не могли бы написать, что мы просим российских олимпийских чемпионов прислать свои автографы Богдану? Адрес – Львовская область, Дрогобычский район, улица Грушевского, восемнадцать.

– Почему вы говорите, что тут не видно его присутствия, – шмыгая носом, спрашивает женщина. Она подходит к шкафу, открывает его. Вынимает мужскую одежду. – Вот же его рубашки...

Она остается в спальне, где умерла ее мать, собрав накануне себе в могилу националистический узелок. И стоит, приложив охапку рубашек брата к груди. А тот, чуть подняв подбородок, спокойно смотрит с фотографии вниз – в стоящую на столе олимпийскую коробку.

Богдан спускается с крыльца. Идущий за ним Андрей шепотом говорит мне на ухо:

– У него никогда не было ноги. Во время родов он получил травму, ногу сразу ампутировали.

Во дворе Богдан подставляет под отсутствующую ногу костыль, разводит в сторону руки и снова спрашивает:

– Я – фашист? Я? Фашист? Нет, скажите, я – фашист? Я – фашист? – Этот вопрос он повторяет раз десять, а солнце поблескивает на его золотом зубе, потому что в конце концов Богдан смеется над своими словами, как смеются над веселой шуткой.

Под желтым потолком горит лампа. Воздух за открытой дверью быстро темнеет. Два окна завешаны короткими красными занавесками, сидящими на резинке. У стены, противоположной входу, стоит стол, накрытый белой скатертью. На нем вазочка с первыми весенними цветами. На лавках перед столом молча сидят мужчины и женщины – жители села Унятичи. Они собрались в сельском клубе, узнав, что в село приехал русский журналист. Сложив руки перед собой, они, пока молча и с осуждением, смотрят на меня, сидящую за столом.

– Чтобы мы могли с вами общаться, мы специально перейдем на русский, – встает крупный пожилой мужчина, имеющий вид дотошного российского пенсионера. – Меня Олегом Петровичем зовут. У меня такой интересный вопрос – почему, если я разговариваю на украинском, я получаюсь фашистом и бандеровцем? А если вы – по-русски, то вы – не фашист? – помяв в корявых пальцах мягкую кепку, Олег Петрович с облегчением садится, показывая, что вопрос его, скорее, был высказыванием и ответа не подразумевал.

– У нас – сто человек погибших на Майдане, – начинает женщина с аккуратно уложенными светлыми волосами, сидящая в первом ряду. – Мы потеряли много людей. У меня муж и сын стояли на Майдане. Психологически нам, матерям, очень плохо. Но теперь нас сильно волнует вопрос Крыма. Почему туда полез русский Путин? Что будет завтра? – она задыхается. – После Майдана все начинало уже успокаиваться понемножку. Мы думали, у нас начнется новая жизнь.

– А что для вас Крым? – спрашиваю я.

– Родная земля! – отвечают они. – Наша земля! Там живут наши родные и близкие – украинцы и те же самые русские. Это – наша граница! Мы все так туго этими родственными нитями переплетены.

– Я пять лет строил в России резиденции вашим богатым людям, – встает со скамейки худой мужчина. – Ну що я вам можу сказати... Вы лучше посмотрите на свою глубинку – як она живет...

– На русском мне будет тяжело, но я буду стараться, – встает другой. – Зачем вы, россияне, из белого сделали черное? Мы – нормальные люди, ваши родственники. Мы никогда не хотели идти на вашу землю. А вы говорите, що мы – националисты. А що такое националист? Человек, который уважает свое, но не тронет чужого... Вы извините за плохой русский, – его голос срывается. – Я не хотел разговаривать на русском из принципа. Не из-за неуважения к языку, а из-за того, что вы смотрели на нас как на своего меньшого брата.

– Я тридцать лет в армии прослужил, – снова поднимается Олег Петрович. – Меня там тоже называли бандеровцем, но в шутку. А я их за то называл власовцами или махновцами, хе-хе-хе, – смеется он.

– Я – медсестра, – говорит другая женщина. Она сидит нахмурившись, сцепив руки. – У нас нема грошей. Люди хотели в Европу, а не в Россию... Вы нас слушайте – матерей. Я – не политик, я тільки не хочу, чтобы лилась кровь славянских народов. И Путина я як людину не разумію.

– О том, что мы притесняем русских – это вранье, – говорит лысый человек с бородой, выпростав из кармана руки. – Почему наши воинские части должны быть в осаде? Так друзья не поступают.

– Друзья?! Це – братья, русские братья, – подсказывают ему со всех сторон.

– Ну не над так нам допомогати, – продолжает тот. – А Россия – нам больше не брат. Россия теперь нам – захватчик.

Жители села шумят, головы поворачиваются друг к другу.

– Давайте по одному! – выйдя к столу и вытянув голову, Андрей громко призывает зал.

– Раньше я считал, что мусульмане – вот наш наполовину не дружественный народ, – поднимается еще один человек. – Потому что они другой веры. Наверное, я был не прав, может, это неэтично, но я так считал. Только я никогда не думал, что россияне – нам не братья. Я думал, мы – самые близкие народы. А выяснилось – что наш наибольший враг не мусульмане, не Китай, а Россия... Ну пусть мы бандеры! – выкрикивает он. – Только куда когда мы полезли и чего чужого мы взяли?! И недалек тот час, когда самого Путина придется от Китая защищать. А я, хоть и бандера, Россию защищать пийду! Потому что по-другому России может не быть! – Он садится.

– Дайте сказать! Дайте сказать! – снова перекрикивает зашумевших сельчан Андрей. – Вот говорят, что Путин боится НАТО. Но только само желание захватить землю соседей, приводит сюда НАТО даже быстрее, чем даже могут его сюда привести наши желания!

– А я однажды в купе с одним русским ехал! – выкрикивает еще кто-то. – И он меня спрашивает: «Видел когда-нибудь, как комар писает?». Говорю: «Нет». Отвечает: «Вот. А политика – это еще тоньше, чем комар писает!». А Путин! Он сам был гарантом неприкосновенности Украины! – еще громче произносит он, и собравшиеся кивками головы с ним соглашаются. – Но это он еще умно поступает, что не льется кровь! Но никто не знает, когда она прольется – сегодня или завтра!

– Мы не хотим войны! – кричат женщины. – Мы хотим мира!

– Никто так не заинтересован в дружбе с Россией, как западная Украина, – размахивая руками, хрипит Андрей. – Потому что у нас – туризм, и большинство туристов едет из России.

– Хвилиночку... – встает с первой скамейки седой мужчина, который все это время сидел молча, поджав губы. Зал сразу стихает, и вдруг становится заметным, что воздух за открытой дверью – посинел. – Я що хочу сказати... Янукович говорил – Украина буде в Европе. Люди настільки в это поверили... – нараспев говорит он, водя перед собой руками, словно читает стихи. – И тут – ни... – он приседает. – Я примитивно сам себе думал – Азаров, да поедь ты в

Европу, подивись, як люди живуть. А потім зрозумів – яки я примітивний, да вони і їх діти там давно живуть в найкращих місцях. А тут – рабство, і це було давно.

– Долго, – подсказывают ему по-русски.

– Долго, – мягким голосом послушно повторяет он. – Дуже довго. Коли я побачив по телевізору, що народ кричить – «Банду геть!» – мені стало страшно – влада от Бога. Нас так виховали на Заході. А тут – «Банду геть!». Для мене банда – то преступное групування. Но как побачив я Межигорье... Це – банда. И я чутки по-новому зрозумів, що таке банда... – снизив інтонацію, договаривает он, и зал как будто вместе с ним падает в паузу. – Українці – трудолюбиві, – тянеє він, – релігійні, не бандерівці. Ну говорите – на-ци-о-на-лист. А що в цьому слові погано? Це – своя культура, своя нація і своя любов до ближнього, – він садиться.

– Добре! Добре! – підтримують його зібравшіся. – Ми – не фашисти! Не фашисти!

Зібрання закончено. Всі жителі села Унятичі хочуть пригласити к себе додому «москальського журналіста». На село опускається синя ніч з якими зірками. Я йду в дім к Богдану – він присутствовав на зібранні, но от начала и до конца не проронил ни слова.

В кирпичном двухэтажном доме с просторной кухней за столом сидит семья – рыжеволосый Богдан, его жена Оксана и их сын Тарас. Нос у Богдана – костистый, лицо – скуластое, подбородок – мягкий. Жена накрывает на стол – доставая из холодильника продукты, купленные в Польше.

– Я раз в месяц в восемь часов утра выезжаю, а к ночи – уже дома, – говорит она. – Покупаем там все – мясное, всякие йогурты, кефиры, порошки для прачки, сыры – брынзовые, голландские. Там дешевле и качественней... У нас еще сын есть – учится в Харькове. Тоже на отца похож. У нас – гуцульский генотип. Женщины маленькие, как я, а мужчины такие – худощавые, жилистые, как Богдан. Тут же горы – пузатым по горам не проходишь.

Она открывает альбом, показывает фотографии своих сыновей. И те, и ее муж – в вышиванках.

– У меня есть вышиванка, у старшего сына есть вышиванка, у Тараса есть вышиванка, – говорит Богдан.

– Только у меня нет, – смеется Оксана. – Я ходила, я підбирала для них узир, який подойдет моей дитині і моему чоловіку. Потом вышивала, потом портнихе отдала. Тарас, иди принеси вышиванки, – говорит она, и сын, встав из-за стола, уходит в комнату. – Раньше дедушки внукам передавали память из поколения в поколение. Теперь фотографии есть. Как посмотрю, сразу что-нибудь вспоминаю.

– А чем ваше село живет? – спрашиваю я.

– Я на заводе нефтеперерабатывающем працюю, – отвечает Богдан. – Но на данное время там людей сокращают. Когда-то на заводе работало три тысячи человек, сейчас – тысяча двести. Туда привозят бензин, и по всей Украине его распределяют. Сейчас он как база, хранилище.

– А раньше завод был главным донором бюджета Львовской области, – в кухню заходит Андрей и еще двое сельчан. Они усаживаются за стол. Самый пожилой – выставляет на середину стола две бутылки медовухи. Богдан поднимает одну и тонко разливает по рюмкам.

– Раньше у меня было двадцать вахт, теперь восемь, – продолжает Богдан. – Сейчас у нас в основном жена работает.

– Иждивенец, – подмигивает ему дед.

– Могу в Польшу поехать на заработки – на стройку, – говорит Богдан.

– Просто есть разные работы, – говорит Андрей. – Уходит то украинское поколение, которое выезжало в Европу на черновую работу. Для младшего поколения система уже изменилась. Теперь наши женщины выезжают в Европу не для того, чтобы за старушками ухаживать, а работать медсестрами в поликлиниках. Поэтому мы хотели в Евросоюз – там было бы

полное признание нашей квалификации. Вы знаете, что мы все – дрогобычская сотня, – он обводит пальцем мужчин, сидящих за столом. – Эти хлопцы первыми вошли в Межигорье и закрыли там финский домик на замок. Все спрашивали – что там происходит, почему закрылись? А я вам скажу, что они там делали – души и ванны принимали. Они не поняли, что там ручки – из золота. Поэтому ничего не взяли, – он смеется.

– Да мы в Москве еще не такие дома видели, – говорит самый молодой мужчина, пришедший с Андреем. – Мы же – строители. Строили дворцы. У вас в Москве таких дворцов, как в Межигорье, десятки.

– Я сказала, не пушу на Майдан, – говорит Оксана. – Он все сидел на диване – дергался, дергался. Я поеду, я поеду. Куда ты поедешь – там смерть ходит? Я рано пошла на работу, звоню ему – «Оксан, я поехал». Я говорю: «Почекай, я скоро буду». «Да я уже в Киеве скоро буду». Я села у телевизор и смотрела, не выключая. Кажна куртка, кажна шапка – думала, це мій чоловік... Мы поженились молодые и всю жизнь душу в дом и в сыновей вкладывали. Теперь его называли фашистом, – говорит она, и Богдан краснеет. – А я его не боюсь. Я его жинка, я знаю все его плюсы, все минусы. Когда треба помовчати, а когда – тю-тю-тю. Когда можно узяти криком, когда – криком не можно. Но на Майдан не пустить – я его ни криком не могла, ни своим тю-тю-тю.

– А сейчас, когда во власть пришли люди, которых вы там видеть не хотели, вы не чувствуете себя обманутыми? – спрашиваю мужчин из сотни.

– Мы еще посмотрим! – хрипло объявляет Андрей. – Эти люди – они не разойдутся. Я – координатор всех сотен по западной Украине. Мы сейчас по всей стране образовали сотни – по старому казачьему обычаю. Для того, чтобы отстаивать свои интересы. Кончится эта война с Россией, у нас будет работать народная коллегия, которая пересмотрит все решения за последние восемь лет. Те, которые были и неправильными, и правильными. Мы вынесем решения и в отношении тех людей, которые их принимали.

– И что вы с ними сделаете?

– Просто уволим и больше не пустим во власть, – отвечает он. – А решения их отменим. Ну кто? Кто нас разгонит? Нас сотен – сейчас шесть с половиной тысяч человек.

– Мы соберемся всем сельским советом и будем их блокивати, – говорит Оксана.

– Они открыли ящик Пандоры, – хрипло тараторит Андрей. – И то, что оттуда вылезло, уже назад не загонишь. Тут все уже грамотные.

Когда мужчины поднимают рюмки с медовухой и слышится «чок», в кухню входит раскрасневшийся Тарас. Он несет свою вышиванку.

– Мам, она мне мала!

– Так я тебе еще одну вышью, син!

Западнее Львова

– Вы едете в Киев? – оконное стекло со стороны водителя опускается. Светлая, хорошо уложенная голова Ирины Верещук высывается наружу.

– Я людей собираю, – отвечает коренастый мужчина в черной кожаной шапке с козырьком. Заложив руки в карманы куртки, он стоит у дороги на одной из улиц Львова. Ждет.

Стекло снова поднимается. Машина трогается и медленно едет по примерзшей брусчатке.

– Это мэр Нового Раздола, – говорит Ирина. – Собирает своих людей в Киев. Мэры сейчас поднялись страшно, потому что реально денег в бюджете нет.

На площади Тараса Шевченко собрались люди – больше, чем та может вместить. Заполнены даже ступени, ведущие к ней. Над головами и зонтами поднимается каменная рука Шевченко и вонзается в серое утро. Синяя сцена Евромайдана желтеет флагом Евросоюза. Колонки далеко разносят голоса выступающих.

– А вчера было меньше людей, – говорит Ирина. – Все думали, Майдан уже заканчивается. Но после того, как мы увидели, что их там в Киеве бьют... Бьют сапогом, который мы купили за свои налоги, потому что думали, это поможет нашей безопасности... Как это слово по-русски? Безопасности! Если бы Янукович не трогал этих детей... Лично я на Майдан не собиралась. Я понимала, что буду бороться своими методами, буду пытаться достичь каких-то экономических договоренностей для своего города. Я после того, что они сделали, я со своими людьми из Равы Русской и соседних сел неделю простояла на Майдане в Киеве.

За поворотом Львов заканчивается. Вырастает белый кирпичный забор, покрытый налетом дорожной пыли. За ним растут темные деревья, густо усыпанные шарами потемневшей омелы.

– Почему люди вышли в этот раз? – спрашивает Ирина, обнимая ладонью переключатель скоростей. – Потому что людей снова обманули, им два года говорили – «Мы идем в Европу». И делали все для того, чтобы люди поверили этим словам. Но в один прекрасный день им сказали: «Нет, мы не идем в Европу! Это – невозможно! Россия сказала, что введет против нас санкции и экономика упадет!». А вы два года об этом не знали?! – спрашивает она украинскую власть, которая, конечно же, не едет с нами в одной машине. – Когда мне говорили, что курс нашего правительства – на Европу, мне это импонировало, я, как мэр, это подхватила и начала пропагандировать. Я всем говорила: «Мы – Европа!».

– А что делает вас Европой? – спрашиваю я.

За окном – лошадка, запряженная телегой, аккуратно переставляет копыта по обледенелой дороге. На обочине продаются метла и веники, составленные черенками друг к другу. Тянутся низкие дома, а над ними, на ветвях высоких деревьев – все та же омела.

– Мы – Европа, – отвечает Ирина. – Польская сторона буквально в двадцати километрах от нас. Нас разделили границей, но ментально разделить не смогли. Каждый год первого ноября поляки приезжают к нам на кладбище – там лежат их отцы, а мы едем к ним – там лежат наши деды и бабушки. Мы настолько повязаны, что... – она не договаривает. Журчит звонок в ее телефоне. – Еще один мэр звонит... – успевает она сказать мне. – Та, – говорит в трубку. – Мы едем. Я тарюся продуктами и еду после обиды сегодня. Давай тарься и зустринемося. Добре, тремайся...

– Вы не боитесь, что после того, как Украина вступит в Таможенный союз с Россией, у вас, мэров малых городов, возникнут проблемы с властью? – спрашиваю я.

– Умные люди всегда боятся, – серьезно отвечает она. – Для нас это – уголовное дело. Но невозможно всех посадить. Так нельзя... Так с нами нельзя.

– А почему с вами так нельзя?

– Потому что в западных украинцах есть хребет, которого Янукович не видит и не понимает. Нас можно быстрее убить, но хребет не сломать. Люди будут стоять до конца, и чем больше он давит, тем только хуже... Слава Иисусу Христу, – подносит к уху трубку. – Та, та Отче... То передать мени, я буду у Львова... Видите, у нас поднимаются все, даже священники, – говорит, положив трубку. – Батюшка хочет продукты на Майдан передать. Я уже четвертый раз еду. Люди сами звонят – «Ира, передай продукты, возьми деньги». У нас рядом с Равой Русской есть село, там пятьдесят домов, у них денег вообще нет. Я не знаю, откуда они взяли, но они мне принесли для Майдана пять тысяч гривен. Это, знаете, как получается? Каждый отдал половину того, что у него было. Кто не может поехать, тот деньги сдает. Понимаете, в чем дело? Нельзя нас оскорблять... Я – управленец, я служила в армии, потом работала юристом, и я не понимаю, зачем Виктор Федорович идет на такой конфликт с народом. Он мог элементарно сказать, что «Беркут» превысил свои полномочия.

Дорогу перебегают низкая рыжая дворняга. Ирина тормозит, пропуская ее.

– Собачку надо пропустить, она ж в Европе, – смеется она. – Такая облезлая европейская собачка.

– Как вы решаете проблему с бездомными животными?

– Да никак. А что, убивать их? Я не могу отдать такой приказ. Нужны деньги, чтобы вывозить их в питомники возле Львова. Но те люди, которым мы платим деньги за вывоз, довозят их примерно досюдова и выпускают. А они прибегают назад. Я когда увидела через неделю ту же собаку, спрашиваю: «Слушай, за что я заплатила тебе деньги? Мы все гуманные, я понимаю. А мне что делать?». Я помню, как пел Владимир Высоцкий, а я, как военная, его очень уважаю. «Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом».

Картинка за окном меняется. Дальше от Львова в сторону польской границы дома становятся богаче. Кирпичные и каменные, они показываются из-за заборов серыми крышами. Один из домов – желтый, двухэтажный – облеплен антеннами-тарелками, как деревья омелой.

– Вы говорите, вы – Европа, – начинаю я, – но я смотрю на окрестности, и вижу – они больше похожи на Россию, чем на Европу.

– Конечно же, – быстро соглашается Ирина. – Поэтому мы хотим в Европу, а не в Россию. Если бы Россия была для нас примером, мы бы хотели в нее.

– Но у вас, как и у Польши, были двадцать лет независимости, и вы могли бы стать похожей на нее...

– И что? У нас будет еще сто двадцать лет, и мы будем идти своим путем. Во-первых, вы прекрасно знаете, что все золотовалютные фонды при разделении остались в России. И если Польше Европа начала помогать еще в девяностых годах, то нам – вот только недавно... Я готова терпеть. Я готова жить на хлебе и воде. Я готова работать без зарплаты. Но мы не хотим, чтобы нам ввали. Посмотрите на меня. Я – мэр маленького города с населением в десять тысяч человек. Но у меня четыре высших образования, и я говорю на четырех языках. Я нормально разговариваю по-русски, хотя никогда русскому не училась. Я просто читаю русскую литературу.

– Ваша любимая книга?

– То, конечно, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но Маргарита она сама по себе – слабенькая такая. Не могла бороться за свою любовь настолько. Я – не такая! Я сильнее! – Она поворачивается ко мне. Ее подбородок тонет в черном меховом воротнике. – Я офицер запаса, – продолжает она, – и я мыслю, как мужчина. И сейчас, глядя на нашу оппозицию, я смеюсь над ними – «А вы в армии были хоть кто-то? Нет? И вы собираетесь революцию делать? В войну играть?». Я презираю тех политиков, которые говорят: «Мы брати вилы и рубать эту власть». Вот таких политиков я презираю! Если уж вы собрались делать революцию, то не выставляйте впереди себя детей, которых потом бьют сапогами по лицу!

– То есть вы считаете, что политические лидеры Майдана борются за власть, а не за Евро-союз?

– Я еду сегодня на Майдан, находясь в отпуске за свой счет. Я поддерживаю не оппозицию и не политиков. С ними я в буквальном смысле слова борюсь. Но, тем не менее, сейчас не время перетягивать этот... канат и рассуждать – плохая ли оппозиция. Восемьдесят пять процентов людей, стоящих сейчас на Майдане в Киеве, аполитичны. Они просто не хотят, чтобы их били за их же деньги. Просто нация проснулась. Сто тысяч вместе пели гимн Украине. А это, знаете, о чем говорит? О том, что точка невозврата пройдена. После того как люди ощутили, что такое солидарность, они стали другими. Ну, натурально другими! Вот и все. Власть тоже должна меняться, становиться гибкой, чтобы выдерживать все эти вызовы, которые бросает глобальный кризис и ЛГБТ-сообщество.

– Если ЛГБТ – это вызов, то бросает его Европа, в которую вы хотите. Разве нет?

– В Польше тоже невозможно провести гей-парад. Они – очень католические. Ну, что греха таить, так ведь и есть... Я люблю людей, но я считаю, что геи и лесбиянки – это... – она ищет подходящее слово, – это болезнь! И алкоголизм, и наркомания, и рак – тоже болезнь. Но никто же не выходит на площадь и не кричит: «У меня рак! Давайте, помогите мне! Вы обязаны меня понять!». Так нельзя... Не надо вставать на площадях. Давайте, мы, нормальные, тоже выйдем и будем устраивать оргии.

– Вы бы многих обидели, произнеси эти слова в Европе, – замечая я.

– А я их там произношу! И они нормально на это реагируют – толерантно. Я, как Уинстон Черчилль, родилась тридцатого ноября, и я, как он, – за демократию, но в каких-то рамках.

Рава Русская открывается желтыми домами, у некоторых – рельефные фасады. На одном из зданий – синий флаг с золотой россыпью звезд Евросоюза.

– Это я потихонечку их покрасила, – поглядывает Ирина на дома.

– Желтый – ваш любимый цвет? – спрашиваю ее.

– Мой любимый – фиолетовый, но не могу же я покрасить дома в фиолетовый? А это – памятник Яну Непомуцкому, мы его недавно только заново отстроили. Он – хранитель всей Чехии. Впервые его здесь поставили двести лет назад. – Она показывает через машинное стекло на серую статую, стоящую на постаменте. Очертания ее круглого нимба, украшенного звездами, напоминают рисунок на флаге Евросоюза.

С той стороны, где Польша, окраины Равы Русской продолжают мерзлыми полями, на которых снег лежит редкими пятнами. На обочине вырастает синий указатель – «Варшава – 308 км». Строем стоят серые будки под синей крышей. Их белые пластиковые двери глухо закрыты. За ними – серые крыши российской таможни, нейтральная полоса, и красные крыши таможни польской.

– Вот эту сервисную зону я построила, – говорит Ирина. – Она пока не открыта. Здесь будет обменный пункт, быстро, аптека, туалет, все как в Европе. ЕС дал деньги, и мы какие-то минимальные проценты от себя добавили.

Машина поворачивает вправо, огибают объезд и возвращается в сторону Равы Русской. Теперь дорожный указатель говорит – «Киев – 598 км».

– Миграция из Равы Русской высокая? – спрашиваю я.

– Трудовая každодневная – да. У нас три завода – шпалопропиточный, спиртовой и большой лесхоз. Четыре школы, один большой лицей. И большая таможня, которая много миллионов гривен пересчитывает в государственную казну. Нам не идет ни копейки.

– Три завода для маленького городка, кажется, немало... – говорю я.

– Да, но налоги-то идут в Киев. Работая целый день, человек хочет выйти вечером на освещенную улицу. Правильно? Он не хочет переживать за то, что в садике, куда ходит его ребенок, отключили зимой отопление. Он хочет пойти в местную больницу, а не ехать к врачам в Киев, и по месту получить нормальную медицинскую услугу. Он считает, что мэрия обязана

ему эту услугу предоставить. Это же справедливо. Это же по-честному. Но мы не можем объяснить, что у нас в бюджете нет денег.

– Когда вы писали свое обращение в Евросоюз, вы же понимали, что отдельно от остальной Украины Раву Русскую в него никто не примет?

– Я основывалась на европейской хартии о местном самоуправлении, которая разрешает мне обращаться с такой просьбой. Я хотела не отделения города от Украины, в этом не было сепаратизма. Мы же заключаем международные договора сейчас. У меня же есть договор о сотрудничестве в торговом представительстве. Ну... я же не виновата, что Янукович изменил курс. Я же понимаю, что у России нет денег, и у нашего государства нет. Так в Европе денег поболее! И я не знаю ни одной российской программы, которая поддерживала бы местное самоуправление на таком уровне, на каком поддерживает Европа. А с Европой я лично уже реализовала пять программ. Да, там нельзя соврать, да, они проверят все до последней копейки, да, коррупцией там и не пахнет. Но, тем не менее... поменяла же я с их помощью окна в садиках...

– А зачем, вы думаете, Европа дает деньги Украине на эти сервисные зоны, на окна в детских садах? – спрашиваю я.

– А они просто так дают деньги.

– Но зачем?

– Это называется поддержкой. Они понимают, что если Украина будет бедной, то больше беженцев от нас поедет к ним. Они цивилизованно к этому подходят.

– А как вы думаете, почему так же цивилизованно Европа не подошла к ситуации в Ливии, когда Америкой, Францией и Великобританией было принято решение ее бомбить? Арабские беженцы из «революционных стран» заполнили Европу. Мне кажется, в этом смысле украинские беженцы для Европы предпочтительней арабских...

– Да что вы говорите?! Европа бомбила Ливию?!

– В две тысячи одиннадцатом году французская авиация обстреляла там гражданские объекты...

– Знаете, я не берусь рассуждать на такие геополитические темы... Чтобы критиковать, надо прежде побывать в этих институциях. Значит, в Ливии виноват сам режим. Как я понимаю Европу? Она очень бюрократическая. У них все должно быть записано на бумажке и все согласовано. Они не мыслят душой, как мы. Они – реальные прагматы. Если им будет выгодно, они будут делать.

– То есть и в украинском решении предпочесть Европу России больше прагматизма?

– Нет... – усмехается Ирина. – Мы просто не верим в то, что Путин – наш друг.

Машина останавливается на обледенелой площадке перед арочным входом на кладбище.

– Я не признаю вседозволенности, которая в рамках революции скидывает памятник Ленину, – говорит она. – Он там себе стоял и никого не трогал. Если вы хотите его убрать, проведите местный референдум. Это – нормальный европейский подход, а не кувалдой бить. Если вы говорите, что вы европейцы, будьте ими, начните с себя... – Она снова не успевает договорить – звонит телефон. Глядя на номер, высветившийся на экране, Ирина хитро улыбается. – Привит, Толик! – начинает она. – Шо ты там вчера перенес памятник Кутузову, я читаю в Интернете? За Майдан? – смеется. – Ну ты даешь, Толик! А при чем тут Кутузов? – с насмешкой спрашивает она и начинает хохотать в трубку. Из трубки доносится мужской голос. – Слухай... – через смех говорит она, – я сibi читаю, дивлюся. Думаю, може мени тоже памятник радяньским воинам перенести демонстративно? Пишут, шо ты проявил акт непокирности! – торжественно говорит она. – Но мени так разумити, трошки с сарказмом было написано. Ха-ха-ха... С центра миста, – давится смехом, – на территорию коммунального предприятия... Толик, на хрена тебе Кутузов? – спрашивает трубку и слушает, как набухший упертый мужской голос объясняет ей что-то на том конце. – Аха! – вскрикивает она. – То вы в геополитичном контексте! Шо ми хочим с Францией! То вы французам показали – «Ни тем, кто вас гнобил в

тысяча восемьсот двенадцатом году!». Ха-ха-ха! Ха-ха!... Памятники не виноваты, – на чистом русском говорит она, положив трубку.

Ирина цокает каблуками высоких сапог по замерзшей дорожке кладбища. Скрипя снегом, к нам подбегает плотный мужчина в синей куртке и вязаной шапке.

– Ты – сивая, – говорит он Ирине, – а ты – лохматая, – говорит мне.

– Это хлопец хворый, нормальный был, в аварию попал, – тихо произносит Ирина.

– Как расшифровать вашу фразу из письма в ЕС – «суррогат империи зла – мытный союз»?

– Я писала, что власть хочет кинуть нас в суррогат империи зла, – отвечает она, стуча каблуками дальше.

– Простите, то есть суррогат – это мы? – спрашиваю, идя сзади.

– Да вы, – смеется, оборачиваясь. – Суррогатом я вас назвала, потому что вы еще не империя зла, но еще и не гражданское общество. Авторитаризм с демократическим лицом. Но если бы у нас был такой Путин, я бы за него голосовала. Он делает для России хорошо.

– Что хорошего?

– Он действует в интересах своей страны. Чтобы каждый президент так свою страну защищал. Вот натурально!

Мы останавливаемся возле надгробья, украшенного исламским полумесяцем.

– А вы не знали?! – всплескивает руками она. – У нас же тут брат президента Таджикистана похоронен. Погиб, когда в армии служил. Но в то время у его матери не было денег, чтобы забрать тело сына... Поэтому президент к нам теперь часто приезжает.

– А можно на христианском кладбище хоронить мусульманина?

– У нас можно! Мы ж – Европа!

Пустырь, покрытый снегом, уходит в рощу темных деревьев. Несколько десятков метров огорожено квадратом бетонных бортиков. Внутри этот пустой бассейн занесен снегом, как и вся земля вокруг Равы Русской. К ней примыкают две арки из красного кирпича.

– Это – стена плача, – говорит Ирина. – Евреи приехали, построили. Здесь когда-то были расстреляны десятки тысяч евреев. Они и сейчас здесь лежат. Евреи приехали и пособирали надгробья, которые Советский Союз с могил снес и укладывал ими дороги, а сверху – асфальт. Здесь просто кости по земле валялись. Вот как издевались над ними. Это сейчас американские евреи делают за немецкие деньги. Там, – показывает на огороженное место, – будет звезда Давида, они будут приезжать сюда и молиться за своих.

Машина, медленно скользя по обледенелому асфальту, удаляется от еврейского мемориала. Скрипят дворники по стеклу. Умолкают.

– Страшні слова, коли вони мовчать... – начинает Ирина. – Нет, я попробую по-русски сказать: «Страшны слова, коли они молчат, когда они внезапно притаились. Когда не знаешь ты с чего начать, ведь все слова когда-то были чьи-то».

– И как найти нужное слово, чтобы тебя услышали?

– Вот именно... Для меня это тоже загадка. Но я знаю одно – если ты живешь в Киеве и прилетаешь сюда к своим избирателям раз в год на голубом вертолете весь в золоте и «бриони», то... какой ты тогда политик?

Над дверью висит вышитая белая занавеска. В углу – высокая печь, покрытая глиняными изразцами с глазурью. В комнате – стол, на нем стопками сложены фотографии, буклеты, книги.

– Наше село было обстреляно першим. Тут была така церковь-невеличка, капличка. Перший снаряд попал на ту церковочку, и она сгорела... – Пожилая учительница местной школы Надежда Васильевна берет со столика буклет. Открывает. Надевает очки.

– Тут собраны гаивки, – говорит Ирина, – еще бабушка моя собирала. Они ушли с нашими ссыльными в Сибирь, а потом вернулись их детям и внукам.

– Продавала клебаньская дочку свою, – заводит тонким голосом учительница. Мэр, стоя у нее за спиной, подпевает. – А долиньська перебігла: купіть мою. Ми вашу не хочемо, бо лінива, чотири ночі горці мочить, три дні мила... Вы все поняли или перевести? – спрашивает меня, дойдя до конца. – На торгу мать продавала дочь свою. Хвалила ее.

– А как хвалила?

– Кака она у ней гарна, каки косы имеет... То дети наши поют, так становятся в два рядка, и из одного выходит мать, представляет дочь свою.

– И что же в результате? Купили ее?

– Нет! – с чувством говорит Надежда Васильевна. – Так другая сторона сказала – мы вашу не хотим, потому что она ленива! Она горшки четыре дня мочила, потом три дня мыла. Они другую купили.

– А как же та? Так и не вышла замуж? – спрашиваю я.

– Так ту уже триста лет продают! – смеется Ирина.

– Мы хотим сделать музей, – говорит учительница. – И помещение уже есть, осталось только отремонтировать, там будут представлены три культуры – украинская, польская, – перечисляет она, и я жду, что она скажет «русская», но она заканчивает: – еврейская.

– Почему вы нас так не хотите? – спрашиваю я.

– А я вам скажу, – махнув рукой на Ирину, чтобы молчала, начинает учительница. – А потому что память генетическая у нас. Мужа моей тети вывезли вместе с детьми. Младшему ребенку было полгода только. Она что успела, то на него надела. По дороге он умер. Муж ее был председателем села и вроде помогал нашим повстанцам.

– А повстанцы-то у себя дома хотели родину свою, – хрипло перебивает ее Ирина. – Они же не шли на Россию нападать. Но их объявили бандформированием! Какое же бандформирование?! Какое?! У нас была наша Украина. Русские пришли и ее забрали. Русские сказали, что бога нет. Хотя мы верим в бога. Вы сказали, что украинского языка нет. Но мы хотим разговаривать на своем языке и петь своих гаивки!

– Линия раздела прошла по нашему селу, – быстро перехватывает слово учительница. – В один день половина села попала в Польшу, другая – в Украину. И знаете, в чем основное качество западных украинцев? В том, что мы ничего не забыли. В том, что мы память свою сохранили!

– Но, может, стоило бы забыть? – спрашиваю я. – И тогда будут нарождаться новые поколения, не помнящие ничего, и им будет легче жить.

– Вы так думаете? – качая головой, с чувством спрашивает учительница.

– Неважно, что я думаю. Это – вопрос.

– Я вам кое-что покажу. – Она берет со стола цветные фотокарточки. – Вот дети пришли на могилу к настоятелю церкви, так он умер шестьдесят лет назад, они его никогда не знали. Но он построил для нашего села большой храм. А вот дети пришли к могиле учительницы. Видите, у ней креста нет, только глыба стоит. Вы думаете, почему? Она была разведчицей УПА. Усыновила двух детишек. И одного из этих мальчиков власть воспитала так, что он пришел к той матери, когда она спала, и задвинул в печке заслонку. Она отравилась угарным газом... Она его приняла, а он ее убил. И этого стереть невозможно! И если бы сейчас не мой радикулит... ой-й, я б стояла на Майдане, как в две тысячи четвертом году.

– Вы не пожалели, что стояли в две тысячи четвертом?

– Нет! – выкрикивает она. – Знаете, дети меня в школе как-то раз спросили: «Вот вы ездили в Киев, на Майдане отстояли. И что же?» А я говорю: «Дети!» – У учительницы перехватывает дыхание. – Я говорю: «Дети... – тише произносит она, – нас продали, если так говорить!... Но я хочу сказать, что видела свой народ, и это – самое главное. Я стояла возле Вер-

ховного Совета, когда объявляли итоги выборов, и там со мной стоял миллион украинцев, но было слышно, как муха летит...» – Она делает паузу и приводит дыхание в порядок. – Это был народ, и это была сила... А почему мы хотим в Европу? А потому что мы хотим, чтобы нас судили честные судьи. Вы нас страшите газом? А у нас его никогда не было.

– Я тоже смеюсь, когда мне говорят: «Вам Путин перекроет газ», – смеется Ирина. – Нам в Раве Русской до газа – двадцать километров. А до газа в Европе – четыре километра. Мы до сих пор отапливаемся углем и дровами. А за то, чтобы протянуть на двадцать километров трубу, Украина с нас хочет сорок миллионов. А Европа бесплатно обещает трубу положить. Они газ у вас покупают по триста сорок, нам продают за триста восемьдесят. Так нам выгодней у них покупать, чем у вас – за четыреста двадцать.

Ирина выходит из машины, когда на дороге показывается похоронная процессия. Звучит тихая траурная песня. Мужчины несут хоругви. Медленно двигается за ними газель с гробом. Горожане из процессии аккуратно поддерживают друг друга под руку, и, можно подумать, что тому причина не печаль, а гололед.

Женщина останавливает мэра, и та, склонив к ней голову, выслушивает ее. «Добре, добре», – говорит, отходя.

– Она просила, чтобы я отговорила ее сына ехать на Майдан, – говорит Ирина. – Ее он не слушается, а меня слушает. Я его отговорю. Ему двадцать два. Начнут бить, ну что он сделает?

Задний двор продуктового магазина покрыт плиткой. По углам краснеют холодильники Соса-Сола. У магазинной стены собрался черный сугроб. Двое мужчин в рабочей форме ждут у входа. Мэр открывает багажник. Мужчины сносят туда коробки с продуктами – рисом, гречкой, паштетом, сосисками, лимонами, чаем, кофе. Каждый раз машина приседает под тяжестью новой коробки.

– Столько будет подогрева, – говорит Ирина, глядя, как заполняется багажник, – что ни один «Беркут» не возьмет. Нас не надо организовывать, мы сами можем организовать, и никакие политики нам для этого не нужны. Кстати, посмотрите на упаковки, – обращается ко мне. – Это все польские продукты. В Польше они стоят в три раза дешевле. И это – еще одна причина, по которой мы хотим в Евросоюз.

Груженная машина останавливается напротив еще одного мемориала, обнесенного цепями. Ирина подходит к высокому надгробью и поднимает со снега сдутый ветром венок. Возвращает его на место.

– А это могилы французских воинов, – говорит она. – В Раве Русской же находится бывший концлагерь. Очень большой. Шталаг-352. Туда свозили французских и бельгийских военнопленных. Это про Шталаг Черчилль сказал: «лагерь медленной смерти и двух капель воды». Сейчас в живых остались только двое из бывших узников. Приезжали недавно, землю целовали. Они чего только не рассказывали, но я не могла это слушать. Их живыми сбрасывали во рвы и засыпали известью. Они их там просто убивали! – кричит она. – А наши равские трюхи носили им покушать...

Наша следующая остановка – библиотека. Здесь свободный доступ к Wi-Fi bibliomist, предоставленный по одной из программ Евросоюза. За столами перед компьютерами в ряд сидят старшеклассники.

– Что читаете? – спрашиваю их.

– Вконтакте и фейсбук, – отвечают они, отвернувшись от экранов.

– А о чем там говорят?

– О революции. О Майдане.

Ирина процокивает каблуками по мерзлой дорожке детского сада. Под елями на пнях мерзнут тазики, размалеванные под мухомор. На лестнице, ведущей к главному входу, стоят коляски и санки. В самом здании белеют ослепительные пластиковые окна.

– А если бы не работали эти европейские программы... – многозначительно говорит мэр, останавливаясь на ступенях. Она показывает на табличку, висящую у входа, «Проект Громади». В углу таблички – флаг Евросоюза. – «Проект Громади» значит, что капитальный ремонт – замена окон и дверей финансируется Европейским союзом. Мы бы сами этого сделать не смогли. Денег в казне – ноль. Их системно воровали в течение двадцати лет. И это вопрос не только к нынешней власти. У них сейчас сонный час, – она показывает длинным ногтем на новую дверь детского сада и спускается по лестнице.

Машина, в которой мы практически провели весь день, выезжает на Львов, чтобы оттуда двигаться в Киев. Она делает последнюю остановку – на выезде из Равы.

Серый обелиск смотрит на безлюдную дорогу. За его спиной – площадка, покрытая нехоженным снегом. Черные деревья растут полукругом, не заступая на нее. Это памятник советским воинам. К нему ведут несколько собачьих следов.

– К ним кто-нибудь приходит? – спрашиваю я.

– Я, – отвечает Ирина.

– А еще?

– К сожалению, русские к ним не приезжают. И это им очень обидно, – говорит она о солдатах. – Потому что каждый год сюда приезжают к своим воинам французы. Приезжают евреи. Приезжают поляки. А к ним – никто... Здесь были тяжелые бои, видите, какая земля горбатая. Здесь десятки тысяч лежат. Они же целую неделю с начала войны оборонялись. Русские разведчики, конечно, знали, что немец готовит. Но где-то в начале июня сюда пришла депеша – всех разоружить. А начальник пограничной заставы девяносто первого отряда Федор Васильевич Морин не послушался, держал всех в ружье. Узнали об этом в Москве, приехали его расстреливать. А тут ночью немец напал, а они все – в ружье. И неделю держали оборону, а другие за несколько часов падали... Как же все перемешалось! Как же страшно это все – тут русские, там УПА! У меня один дедушка в советской армии служил, а другой – в УПА. И шо ты будешь делаешь? – дотрагивается она до обелиска. – Ну шо ты будешь делать?!

Я спускаюсь по ступенькам вниз – к могилам, запорошенным глубоким снегом. Они – квадратные, братские, низкие. Похожи на пластиковые окна в детском саду – символ выхода в Европу. Становится виден большой серый крест, который, стоя у обелиска, не разглядеть. Он подпирает собой наступающий лес черных деревьев, и те не смеют идти дальше, словно крест из последних сил держит невидимую границу. В этом месте, где нестертая память, сконцентрированная в вернувшихся из Сибири гаивках, не дает живым покоя, могилы, мемориалы и памятники становятся той границей, которая не пускает живых за точку невозврата.

Трезубцы небесной тысячи

К какой войне готовятся боевые отряды Майдана

Боевые отряды украинской революции – «Самооборона», «Правый сектор» и другие – сейчас проблема не только для их «внутренних врагов», но и для самой временной украинской власти. Они не только вступают в драки и перестрелки в Донецке и Харькове, участвуют в самосуде и «люстрации», они захватывают коммерческие структуры и здания. Но при этом они – те, кто морально готов воевать. На Украине на прошлой неделе власти сформировали Национальную гвардию, в которой к военным решили присоединить и боевые группы Майдана. Корреспондент «РР» побывала на первой тренировке «Самообороны» на военной базе, а также встретила с очень высокопоставленным украинским офицером, который говорил о готовности к войне и терактам.

Андрей, комендант сотен «Самообороны», поднимается на второй этаж поликлиники. В полутемном коридоре ему навстречу попадают люди в камуфляже и люди в белых халатах.

– У хирурга все были? – выглядывает из кабинета мужчина в халате.

– Да, – отвечает Андрей, сверившись с листком бумаги, который держит перед собой.

Он останавливается там, где от стены отходит полукруглый низкий бортик, засыпанный мелкой галькой. У окна сгрудились мужчины, на рукавах их камуфляжных курток написано «12-я львовская сотня». На бортиках сидят еще несколько человек. Над ними возвышается сотник, шея которого обернута желтым шарфом с тонкими голубыми надписями «Майдан». Он стоит, сцепив руки за спиной и широко расставив ноги. Между его высокими ботинками на высокой шнуровке поблескивает металлическая пластина, прошитая гвоздями, которая прибивает ковровую дорожку к паркетному полу.

– Это медучреждение, – сообщает Андрей. – А мы расположены сейчас на базе, которая раньше подчинялась внутренним войскам. Там все эти спецподразделения – «Барс», «Ягуар». Они переведены в состав Национальной гвардии. Три дня назад о ней был принят закон. А мы – «Самооборона» – теперь резерв Национальной гвардии и тренируемся на базе «Барса». Вы сейчас, можно сказать, в самом пульсе, – ударяет он последний слог, – этого события. А вот они резервисты, – он показывает на мужчин, сидящих на бортике.

Среди них один, лет пятидесяти, с костистым лицом, сидит, закинув ногу на ногу. Второй лысеющий, плотный, лет сорока пяти. Рядом с ним, касаясь бока локтем, похожий на него румяный парень с серыми глазами, его куртка схвачена на поясе белым ремнем. С краю еще двое, одинаково худые и невысокие. У одного по голове проходят две выбритые полосы, такие же длинные заживающие шрамы на щеке.

– Россия уже завоевала пол-Украины, – говорит он. – Перешла все границы. Я лично поломаю ногу каждого москаля, который ступит на нашу землю.

– Ром, ты поясний, – обращается к нему, двинув локтем, другой, в растянутом камуфляжном свитере. – Имеются в виду путинские, а не народ.

– Виталь, я же с Луганска, – отвечает Рома. – Я у вас один такой, талисман. Мне оттуда звонили ночью: ребята уже вооружились и даже не хотят ждать первого удара. Люди как? Они из подвала вылезут, стрельнут и залезут обратно. Это же партизанская война. Какого хрена Россия полезла? – обращается он ко мне. – Мы встали против чего? Против того, что нам надоело жить бедно. Я трое суток добирался из Луганска на поезде. У меня пуля в плече.

– Мне интересно, – обняв тонкими пальцами выпирающее из штанов колено, говорит Виталь, – обычные русские спрашивают: что делают в Крыму их зеленые человечки?

– Чем ты раньше занимался, до самообороны? – спрашиваю я.

– Я жил в селе, у меня там полгектара земли, я его обрабатывал. С этого и живу. Сажаю картошку, морковку, буряк, петрушку, лук, даже пшеницу сею. Потом картошку складываю в погреб. Конечно же, продаю немного знакомым. А так я ее и жарю, и супчики готовлю, и деруны. У меня брат младший – он жареную картошку хоть три раза в день есть будет! У нас родителей нет, мы сами всю жизнь живем. А на обед готовлю в основном супчик.

– С мясом?

– Ну нет, конечно же. Вообще-то я покупаю куриные крылышки и закидываю в морозилку.

– Россия с Китаем давно друг другу в спину дышат, – говорит Рома. – Самый лучший спецназ у Китая. Если Россия передвинет большую часть войск сюда, Китай пешим ходом ее затопчет. А Путин останется у разбитого корыта. Смотрите, американский крейсер подошел, – перечисляет он, – Турция сказала, что мусульманских братьев не даст в обиду, плюс Польша уже подтянула войска к границе.

– То есть на свои силы вы не рассчитываете? – уточняю я.

– На нашей стороне мир, – отвечают мне сразу несколько голосов. – Мы защищаем свою родину, а они нападают. Значит, у нас дух сильнее. А мы рассчитываем только на свои силы – что я ему спину прикрою, а он мне! Мы пойдем москалей голыми руками душить!

– Балаган прекратить! – командует сотник. Все стихают. – У меня в России масса родственников живет. Но если придется воевать... У меня четверо детей, я обязан буду их защищать. – Сказав это, он уходит широкими шагами по ковровой дорожке.

– А я обязан защитить младшего брата и бабушку, – говорит Виталь, и кадык двигается на его тощей шее.

– А что для вас война? – допытываюсь я.

– Кровь, смерть, разбитые семьи, плачущие люди, – отвечает Рома, дергая за веревочку ламинированный бейдж «Стоп, Россия».

– Ну, это ты совсем, – останавливает его Виталь. – Вообще-то я скажу, что война – это, конечно же, деньги и политика.

– Деньги нас не касаются, – говорит Рома. – Нас коснутся только кровь и смерть.

– Этой весной я картошку не посажу. – Кадык снова проходит по шее Виталья. – Если сейчас все будут картошку сажать, так российский сапог пройдет всю Украину и будут вешать везде флаги русские. А если войны не будет, я буду как-нибудь работать во Львове и до следующей весны протяну. И сразу посажу картошку.

– А я кинолог, – говорит Рома. – Тренирую любых собак: от карликового пинчера до боевых. Если будут у нас тут ваши зеленые человечки ходить, я дам ей команду злобы – она на него бросится и руку ему поломает. Это элементарно. Для этого надо просто знать психологию собаки.

– И какова психология собаки? – спрашиваю я.

– Она все время видит в человеке лидера. А человек ищет моменты злобы в ней, чтобы, воспользовавшись ими, научить ее нападать.

– А я энергетик, – говорит вернувшийся сотник. – Обслуживал иностранные представительства и российское посольство в том числе. У меня стаж больше пятнадцати лет. А с электричеством, знаете, бывают случаи, которые невозможно объяснить. Большие разряды могут возникать из ничего. Эти хаотические разряды, блуждающие сами по себе, объяснить никак нельзя – просто возникают на ровном месте... Двенадцатая сотня! – командует он. – Собираемся внизу возле беседки и ждем автобуса!

– Хотите, зигу кину? – спрашивает меня сероглазый молодой человек, натягивая на лицо пятнистую балаклаву.

– Зачем ты этот фашистский жест будешь ей показывать? – спрашивает его Виталь.

– Вы сами говорите, что российские репортеры все врут, так вы их и не провоцируйте, – придвигается к нему комендант Андрей и цедит слова: – Ну як вот так? Я бы на их месте так и подумал – что вы фашисты.

– Вообще-то знаешь, как слово *fasio* переводится с латинского? – с раздражением спрашивает Андрея сотник. – Ты знаешь, что оно переводится как «родина»?

– Я всегда думал, что оно переводится как «пучок», – бурчит тот. – Сегодня фашисты негодяи: коли мы взяли власть, так будем всех давить. Це для мене фашизм.

– Знаешь, в чем твоя проблема? – в упор уставившись на него, спрашивает сотник. – Ты не знаешь, где служишь. «Самооборона» бачишь что такое? Она аполитична, мы не следуем ни за одной из партий. Мы защищаем батьківщину.

– Да, мы защищаем народ, – отвечает ему Андрей.

Все собрались у беседки. По парковой зоне поликлиники гуляет пронзительный ветер. С неба капает мелкий ледяной дождь. В беседках с решетчатыми деревянными стенками на скамейках сидят бойцы «Самообороны» в балаклавах. За беседкой березы и сосны. Накладной карман черной куртки Андрея выглядывает из рукава красной подкладкой и смотрится нарукавной повязкой. Роман курит, засовывая сигарету в квадратную дырку, которую образовали сломанные верхние и нижние зубы. Губы посинели от холода. Синтетическая балаклава со спущенным низом туго обтягивает его лицо, выдавливая из него ввалившиеся щеки. Наблюдая настороженно за сотником и комендантом, он выпускает в их сторону сигаретный дым.

– Нам потрібно виявлять шпיוнов и провокаторов, – продолжает сотник, – разные криминальные элементы. И судить их по закону военного времени.

– Мы не судьи, – негромко заявляет Андрей.

– Мы не судьи, – подтверждает сотник. – Но если по закону военного времени прописан расстрел на месте, будем расстреливать на месте.

– А я хочу увидеть своих детей, – отшвырнув окурков, обращается к ним Роман. – Но я не могу. Если уеду домой я, за мной уедет еще кто-то, а за ним – еще кто-то. Потому что каждому хочется к семье. А что в итоге? Недееспособная армия и отсутствие добровольцев. Я очень соскучився за своими дітьми! Очень. Я хочу взять их на руки!

– Строимся! – командует сотник.

Сотня выстраивается в несколько неравномерных шеренг напротив беседки. В последней стоит дед с седыми усами и жгуче-черными бровями. Взрослые стоят с виду разобранные, свесив руки. Молодые – выпятив грудь.

– Кругом, марш!

Шеренги рушатся, смешиваются и толпой направляются к автобусу. Заполнившись и закрыв двери, тот выезжает с территории поликлиники. У шлагбаума ему отдает честь дежурный КПП в военной форме, и пока он стоит под дождем, подняв напряженную ладонь к виску, 12-я сотня «Самообороны», только три дня назад покинувшая Майдан и ставшая резервом украинской Национальной гвардии, смотрит на него сквозь автобусные окна, покрытые каплями ледяного дождя.

– Интересно, сколько они получают? – спрашивает один из бойцов, но его вопрос остается без ответа.

– Раз, два, три! – объявляет чернобровый дед, и автобус заводится стройной песней.

– Там баррикада, там баррикада – строилась. Стрелял далеко, стрелял далеко – сучий сын, – выводят мужские голоса. – Ой зэки-зэки, ой зэки-зэки вы мои. Довго служили, довго служили вы мені! Більше служити, більше служити не будете. До криміналу, до криміналу пійдете.

– Слава нації! – выкрикивает сотник.

– Смерть ворогам! – отвечает автобус.

За время пути по намокшей трассе на базу «Барса» сотня успевает спеть только две песни.

По асфальтированной дорожке, бортики которой выкрашены свежей известкой и к которой с двух сторон наклоняются березы, колонна движется к чередке невысоких желтых зданий. На ее пути просторы, покрытые желтой прошлогодней травой и пересеченные полотном асфальта. Футбольное поле, огороженное воткнутыми в землю и покрашенными сверху белой краской покрывками. На ветру шевелится сетка ворот. Сотня заходит в одно из строений.

Кафельные колонны делят просторное помещение на две половины. Обе равномерно заставлены столами, на каждом посередине стоит тарелка, на ней половинка круглого хлеба вверх горбушкой. За столами сидят срочники в синей форме, склонившись над тарелками с супом и макаронами. Когда заходит сотня, разговоры становятся тише. Сотня проходит в глубину столовой и там садится особняком в самом конце, не смешиваясь со срочниками. Минуты через две срочники встают из-за столов и большими группами покидают столовую.

– Вы стояли против них на Майдане? – спрашиваю я, присаживаясь за столик к двум доедающим срочникам и кивая в конец зала – на сотню.

– Было дело... – неохотно поднимается от тарелки один из них.

– А теперь, когда вам... – начинаю я.

– Не спрашивайте, – перебивает он. – И так понятно, что вы хотите спросить. Как мы себя чувствуем, когда нам приходится сидеть с ними в одной столовой?

– Да. Как вы себя чувствуете?

– Не очень, – отвечает второй, обменявшись с первым понимающим взглядом. Несколько секунд они смотрят через стол друг на друга, как могут смотреть люди, находящиеся в одной и той же ситуации и сказавшие о ней друг другу настолько все, что стали способны передавать мысли глазами.

– Наше начальство говорит одно, а потом делает другое, – тихо говорит второй срочник.

– Вы с ними еще не подружились? – спрашиваю я.

– Не особо... Мы с ними почти не разговариваем. Но нам осталось всего месяц службы, мы собираемся домой. А на территории мы пока себя чувствуем отлично.

– Месяц быстро пролетит, – соглашаюсь я.

– Спасибо за поддержку, – откликаются они и, обменявшись еще одним взглядом, встают из-за стола. Уходят.

Через несколько минут на мой стол срочники передают пачку печенья и плитку 56-процентного шоколада. Я оборачиваюсь. Сотня сгрудилась за столиками, рассчитанными на четверых, вшестером. Балаклавы держат на коленях. Некоторые неуверенно улыбаются, глядя на спины срочников, на которых белым написано «Міліція».

– Вас приглашает высокий военный чин, – говорит Андрей. – Он хочет с вами поговорить, но своего имени не назовет. Вам придется вернуться в Киев.

Мы с Андреем возвращаемся в Киев на машине, которую прислал за мной высокий военный чин. Андрей пристально смотрит на дорогу, приглаживая рукой коротко стриженные волосы и не переставая меня инструктировать.

– Не спрашивайте, как его зовут и кем он командует. Вы сами должны понимать, какое сейчас время и чем ему разговор с вами грозит. Вы можете написать, что только что были на базе «Барса», но больше ничего такого не пишете. Называйте его просто: офицер.

В кабинете офицера чувствуется пустота. Его кресло пусто. Сам он ждет меня, сидя за столиком для гостей. На столике же лежит его фуражка. Над креслом голая стена, или она кажется такой от привычки видеть в кабинетах на этом месте портреты руководителей и президентов. Сбоку от офицера садится Андрей и почти касается локтем его фуражки.

– Нас всех объединило одно: у нас был очень nepopядочный президент, – говорит офицер, этим вступлением объясняя то, что сидит за одним столом с Андреем. – Тупой, необразованный зэк. У вас президент тоже плохой, – добавляет он. – Но он хотя бы офицер с вычищенной биографией. А у нашего биография очень нехорошая. Но когда ко мне пришли и сказали: «Выйди на баррикады и скажи, что ты уволился, кинь клич, чтоб к тебе присоединились другие офицеры», я ответил: «То есть вы хотите из меня предателя сделать? А что потом вы будете со мной делать – с таким хорошим?»

– Что такое предательство для офицера?

– Ну... видите ли... мне очень больно, когда заставляют принимать вторую или третью присягу. Я вторую присягу не принимал на Украине после того, как присягнул Советскому Союзу. Я в себе выработал такую мысль, чтобы как-то жить со всем этим. В первый раз я клялся защищать родину. Родина моя была большая, советская, но потом волею судьбы стала маленькой – Украиной. Я дал присягу народу и до сих пор ей верен. А сегодня... Хотите, я каждый день присягу буду давать? Это когда я был молодым офицером, для меня такое было невозможно.

– И кому вы хотите давать каждый день новую присягу?

– А кому хотите... Хотите – той власти. Хотите – этой. Завтра придет другая – дам другой. Главное, чтобы она не была такой, как предыдущая. Я уже давно не такой принципиальный.

– Как это?

– Как это?! Как это... Вот так это! Но... я считаю, что сейчас мне больше не надо никому присягать. Какой смысл? Я и так служу народу.

– А что вы думаете о тех военных, которые перешли на сторону России в Крыму?

– Я бы не наважился давать присягу другому государству. Зачем другому государству офицер-предатель? Чтобы выбросить его, как использованный мусор? Хотя... ну, наверное, никак я к ним не отношусь. Но вообще считаю, что это измена родине.

– Без оправданий?

– Сейчас все настолько... – он задерживает дыхание, – нечестно, – выдыхает, – что погибать ради этого, может, и не стоит? Может быть... Но хотя, если задуматься... Я долго думал над тем, как в Афгане большинство наших, чтобы не попасть в плен, стрелялись. Когда я был молодым, я думал, что так правильно. Но сейчас думаю: лучше бы сдавались.

– Вы так начали думать после того, как получили свой высокий чин?

– Да. Я сразу поставил себя на место их матерей. Сейчас мне дали в подчинение этих людей с Майдана. И у нас сразу... сильное непонимание друг друга. Они видели во мне врага изначально. Говорят: «Нам ничего от вас не надо, только дайте нам оружие, и мы поедем хоть сегодня, ляжем на границе и будем стрелять по российским танкам». Патриотизм очень высокий, – говорит он, бросив взгляд вбок, на коменданта сотен. – А я сказал: «Вы меня извините, но я не хочу быть начальником похоронной команды. Не хочу на ваших крестах рисовать трезубцы героев...»

– Трезубцы небесной тысячи, – поддакивает Андрей.

– «...Мне не нужен ваш героизм, если вы будете мертвыми, – продолжает офицер. – Мертвые герои никому не нужны. Моя задача – подготовить вас так, чтобы как можно больше из вас осталось в живых».

– Трудно поверить, что люди с Майдана могли принять от вас эту помощь, – говорю я, – что они стали выполнять ваши приказы. Вы их враг. И за право ненавидеть вас они, кажется, заплатили кровью?

– Я видел, что они меня ненавидят и считают врагом. Но никто ведь не знает, с какими мыслями я живу...

– С какими мыслями вы живете?

– Всю Украину объединило то, что ее президент был жуликом и обормотом. Да, мы охраняли этих жуликов... Выполнять свою работу морально было очень тяжело. Но я стоял на страже закона. Я понимал, что у нас нет одного лидера и мы стопроцентным голосованием никогда не выберем себе нового президента. Значит, другого пути не было... Нас, офицеров, вывели туда, на Грушевского, – стоять в шеренге. А раз мы туда пришли, полковники не будут прятаться за солдатами, чтобы вы, журналисты, опять все перекрутили. Я скомандовал встать впереди срочников. А сам, чтобы никто ничего не бзикал, вообще вышел вперед. Мне позволили друзья: «Это ты там стоишь?» – «Я. А это вы колеса там подкатываете?» – «Мы». – «Слышь, убери вправо немножко, чтобы дым на нас не шел».

– Вы уж меня простите... но сейчас все так говорят. А что бы вы говорили, не поменяйся власть?

– Очень сложно мне самому понять, что бы я говорил... Вы сейчас напишете, что я сказал, и для меня это будет полный звиздец. Вы можете всего этого не писать? Я вам рассказал правду, но вы же сами знаете, какая она – правда.

– Ни у кого уже нет сомнений, что в Крыму проголосуют за присоединение к России. Это может послужить толчком к началу войны? – спрашиваю я, и Андрей дергается.

– Вы не можете задавать такие вопросы военному, – говорит он. – Он может только выполнять команды главнокомандующего.

– Мы же все понимаем, – нехотя произносит офицер, – что ваш президент безбашенный. Ваш президент плохой. Вы согласны?

– Она этого не скажет, – останавливает его Андрей. – Она уже заявила на базе «Барса», что у нее принцип – не ругать свою страну в нашем присутствии.

– А мы, значит, можем своего ругать? – с осуждением смотрит на меня офицер. – Вы боитесь Путина.

– Пусть будет так, – отвечаю я.

– Скажите правду, если хотите, чтобы мы были с вами откровенны, – настаивает офицер.

– Правда в том, что вас здесь, вооруженных мужчин, много, а я среди вас женщина, и я одна. Легче всего сейчас сказать, что наш президент плохой, чтобы сделать вам приятно и расположить к себе. Но я считаю, что подобная критика возможна только внутри страны. Там меня не затруднит сказать, что я думаю о Путине. Но не здесь и не сейчас.

– Мне нравится эта позиция, – соглашается офицер. – Тогда говорим дальше... У Путина сейчас высокий рейтинг за счет того, что он поднял армию. Армия ему сейчас создает имидж. Но скоро у вашего президента рейтинг упадет очень сильно. Украинцы – хорошие воины. Трудно сказать, какую тактику мы выберем. На войне любая хороша. Лишь бы наши солдаты оставались живы, а ваши погибали. На дуэли мы драться точно не собираемся, но мы будем мочить вас в сортирах. И на вашей территории тоже. В ход будут пущены все средства. Будут рваться ваши вокзалы. А что вы на меня так смотрите? Не надо на меня так смотреть. А вы зачем к нам пришли? Путин эту войну не выиграет, и он это поймет, как только начнет вести военные действия. И мне все равно будет, кого из вас убивать: мирное население, немирное. Почему я должен вас жалеть? А вы не хотите маму мою пожалеть?

– Что может стать поводом для начала боевых действий с вашей стороны? Присоединение Крыма к России, например?

– Он не может отвечать на этот вопрос, – снова дергается Андрей. – Кто будет объявлять результаты референдума? Там распущен парламент.

– Я военный человек, – говорит офицер. – И если завтра надо будет воевать, я буду воевать. Если вы думаете, что русский сапог будет ходить по Украине, то... он не будет ходить. Если вы вдруг посчитаете Крым российским, я не исключаю, что там начнется подпольная террористическая деятельность. Я не верю в то, что нас будут спасать Америка, Европа или Англия, – они, напротив, сделают все, чтобы мы между собой воевали. Просто я не понимаю

Путина... Почему он такой баран? Почему вместо того, чтобы укреплять отношения с Украиной, он пытается поставить нас на роль меньшего брата? Он считает, что, унизив украинский народ, он может стать великим самодержцем... Слушаю, товариш главнокомандующий, – поднимает он тонко завибрировавшую телефонную трубку. Из нее отчетливо слышен голос. Офицер показывает мне руками – закрыть уши. Я закрываю уши.

– Я наблюдала за бойцами сотни, – говорю я, когда он кладет трубку на стол. – Они недисциплинированы, и они не перестали вас ненавидеть. Вы думаете, что сумеете воспитать из них настоящих солдат?

– Я сам, когда пришел двадцать лет назад в армию, был нахрапистым и... – начинает Андрей.

– Вы не приходили в армию с Майдана, – останавливаю я его. – А бойцы сотни считают, что они свергли режим.

– Я сделаю все, чтобы они стали хорошими солдатами, – говорит офицер и придвигается ко мне. Ставит локти на стол и не мигая смотрит мне в глаза. – Я уже показывал им, как вас надо убивать. Я уже сказал им: «Ребята, так воевать нельзя. Москали вас всех передушат». У нас будет много героев, но не посмертных. И я благодарен Советскому Союзу, что он научил меня военному делу. Я был хорошим советским офицером. А опыт в Афганистане показывает: это они с Майдана герои, но в условиях реальной войны это беспомощные дети. Они сразу будут липнуть к командиру, который будет четко и уверенно отдавать им команды.

– О чем вы говорите? Вы же видели этих людей, три месяца отстоявших на Майдане. Они изможденные и истощенные, – не сдаюсь я.

– Они только что прошли медкомиссию! – говорит Андрей.

– А Матросов был сильным?.. Послушайте меня... Я родом из тех мест, где до пятьдесят шестого воевали. Мой дедушка отсидел восемь лет, – офицер берет со стола ручку, рисует в открытом блокноте восьмерку, обводит ее много раз и дырявит. – А другой дедушка дошел до Берлина. А я всю жизнь думаю: кто из них был прав?

– А все были правы, – говорит Андрей, – и тот и другой. Время было такое...

– Сердце офицера какое? – спрашиваю я.

– Твердое, – отвечает офицер.

– У нас был Беслан, – говорю я, – у нас была масса других терактов. Террор – это черное зло. Объясните мне, как вы, бывший советский офицер, можете сейчас сидеть вот так, смотреть мне в глаза и оправдывать терроризм?

Офицер моргает, опуская на глаза светлые ресницы. Когда он их открывает, они из серых становятся синими.

– А что мне делать, скажите вы мне? Я вас не должен убивать, потому что вы – что?

– Люди.

– А мы?

– И вы.

– Ну так скажите своему Путину, пусть выстраивает с нами дружеские отношения. А иначе мы будем отравлять вам колодцы. Мы насыплем вам какую-нибудь гадость в водопровод. Мы будем истреблять вас в сортирах. Я буду делать это. Я буду хладнокровно вас убивать. Я буду посылать бойцов, я сам не пойду. Вы же нечестно себя ведете. Когда вы говорите, что отдали нам Крым, вы же умалчиваете, что взамен получили Белгородскую область.

– Я поняла, зачем вы меня позвали. Вы хотите через меня донести это послание до России. Так ведь? – спрашиваю я.

– Так, вы догадались. Да, я хочу, чтобы вы нас боялись.

– Но проблема в том, что вы не внушаете страха. Я знаю, что ничего этого вы делать не будете, – говорю я, вставая.

– Сядьте!.. Посидите еще. Давайте поговорим. Хм... Большинство офицеров помешаны на своей службе. В девяносто втором я вернулся на Украину. Я не хотел уезжать, я правда был хорошим офицером. Меня трижды посылали на получение досрочного звания, и трижды мне отказывали. Знаете почему? – он щелкает колпачком ручки. – Потому что я украинец.

– Это сильно отразилось на вашем сердце?

– Конечно же... А потом мне посоветовали: ты поставь две бутылки коньяка, а мы напишем, что ты русский, и через две недели у тебя уже будет звание. А знаете, сколько стоили две бутылки коньяка? Двадцать рублей. А знаете, какая у меня была зарплата? Пятьсот рублей.

– Вы согласились, чтобы написали: вы русский?

– Не-е-ет... Меня спросили: «Чего ты хочешь?» Я ответил: «Я хочу домой. Туда, где мне будут присваивать звания». Я вернулся. Моя зарплата была двадцать семь долларов. Наступило лето, а у жены вообще не было летней одежды. Мы пошли на рынок, она выбрала себе шелковую блузку, и мне тоже она понравилась. Я отдал всю... всю свою зарплату. – Он снимает локти со стола и отодвигается от меня, прикрыв глаза. – Она шла сначала молча, потом как заревет. «Ты чего?» – «А как мы жить будем?»... Мне сейчас звонят мои... русские офицеры: «Ну, что вы там собираетесь делать?» – «Да мочить вас собираемся!» Смеются: «Ну, ты, брат, даешь!»

Мы с Андреем выходим из кабинета, чтобы успеть вернуться на базу «Барса». Оставляем офицера за столом – раскрасневшимся и, по всему видно, с растревоженным сердцем.

Наконец дождь трансформировался в колючий снег. Вокруг большого серо-голубого макета самолета, отгороженного от асфальта высокими березами, бегает бойцы сотни.

– Руки вверх! Вниз! Выше! Выше!!! – командует инструктор. Они бегут, надвинув на лица капюшоны, высоко поднимая ноги.

Андрей направляется к палаткам, в которых расквартированы сотни. Они стоят на месиве грязи.

– Так и надо, все правильно, хоть и холодно, – говорит Андрей. – Нам же надо за две недели научиться воевать.

Возле палатки, на которую накинута защитного цвета сетка, мокнет дежурный из «Самобороны». Рядом с ним останавливается молодой офицер.

– Товарищ боец, встаньте в строй! – зычно приказывает он.

– Що? – отвечает боец. – Мені сотник ще не наказав. Я без сотника не піду.

Офицер идет в соседнюю палатку. Возвращается с сотником.

– Скажите своему бойцу, пусть встанет в строй!

– Епт! – обращается к бойцу сотник. – Да я тебе!

Боец сходит с места.

– Твоего сотника тоже позвать? – обращается офицер к бойцу, охраняющему соседнюю палатку.

– Не, я сам піду, – отвечает тот.

(Кульчицкий погиб в мае.)

На смерть генерала Кульчицкого

Почему автор «РР» не рада успеху своей публикации

На прошлой неделе ополченцы Донбасса сбили вертолет вооруженных сил. Среди 12 погибших оказался генерал-майор МВД Украины Сергей Кульчицкий. За два месяца до этого события «РР» опубликовал репортаж «Трезубцы небесной тысячи». Один из его героев – анонимный высокопоставленный офицер – угрожает России терактами и обещает нас хладнокровно убивать. Когда стало известно, что этот офицер и есть Кульчицкий, в Рунете поднялась настоящая буря, а цитаты из текста разобрали на пули для войны. Автор репортажа Марина Ахмедова попросила эту полосу для того, чтобы объяснить, почему ей это совсем не нравится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.